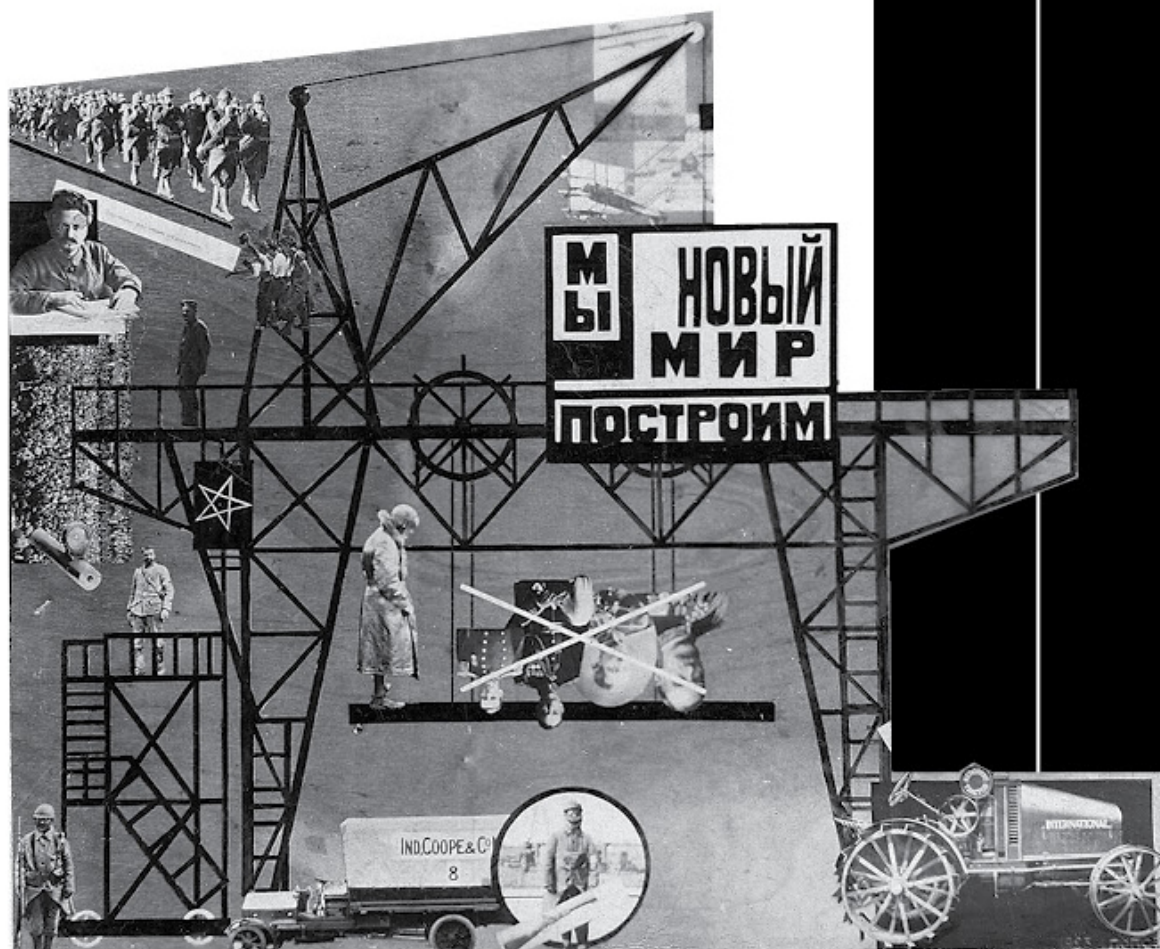


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Павел Арсеньев



ЛИТЕРАТУРА ФАКТА

И ПРОЕКТ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОЗИТИВИЗМА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 1920-Х ГОДОВ

Павел Арсеньев

**Литература факта и проект
литературного позитивизма в
Советском Союзе 1920-х годов**

«НЛО»

2023

УДК 821.161.1.02(47)«19»
ББК 83.3(2=411.2)6-02

Арсеньев П.

Литература факта и проект литературного позитивизма в
Советском Союзе 1920-х годов / П. Арсеньев — «НЛО», 2023

ISBN 978-5-4448-2317-3

Монография посвящена советской литературе факта как реализации программы производственного искусства в области литературы. В центре исследования — фигура Сергея Третьякова, скрепляющего своей биографией первые (дореволюционные) опыты футуристической зауми с первым съездом Советских писателей, а соответственно большинство теоретических дебатов периода. Автор прослеживает разные способы Третьякова «быть писателем» в рамках советской революции языка и медиа — в производственной лирике, психотехнической драме и «нашем эпосе — газете». Каждая из стадий этих экспериментов требует модификации аналитического аппарата от чисто семиотической через психофизиологию восприятия к медиаанализу носителей. Заключительная часть книги посвящена тому, как литература факта смыкается с аналогичными тенденциями в немецком и французском левом авангарде (зачастую под непосредственным влиянием идей Третьякова, как в случае Бенямина и Брехта), а затем продолжается в такой форме послезития фактографии, как «новая проза» Варлама Шаламова. Павел Арсеньев — поэт и теоретик литературы, главный редактор журнала , лауреат премии Андрея Белого (2012). Доктор наук Женевского университета (Docteur ès lettres, 2021), научный сотрудник Гренобльского университета (UMR «Litt&Arts») и стипендиат Collège de France, специалист по материально-технической истории литературы XIX–XX вв.

УДК 821.161.1.02(47)«19»

ББК 83.3(2=411.2)6-02

ISBN 978-5-4448-2317-3

© Арсеньев П., 2023

© НЛО, 2023

Содержание

Предисловие. Покончить с литературой (такой, как мы ее знали)	7
Введение	15
Литературный позитивизм	15
Метод научно- и материально-технической истории литературы	16
Раздел I. Революция языка и инструменты социалистической трансляции	18
Лингвистика и политика (о революционной ситуации в языкознании)	20
Политики голоса и медиатехники коммуникации	24
Глава 1. Поиски совершенного языка в советской культуре между самосознанием медиума и записью фактов	27
Глава 2. «Язык нашей газеты». Лингвистический октябрь и механизация грамматики	35
Грамматика	35
Фразеология	38
Медиатехника	41
Глава 3. Радиооратор, расширенный и дополненный	47
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Павел Арсеньев
Литература факта и проект
литературного позитивизма в
Советском Союзе 1920-х годов

© П. Арсеньев, текст, дизайн обложки, 2023

© ООО «Новое литературное обозрение», 2023

* * *

Предисловие. Покончить с литературой (такой, как мы ее знали)

Эта книга выросла из затяжного интереса к фигуре Сергея Третьякова. Возможно, генеалогия этого интереса может объяснить здесь больше, чем перечисление «предыдущих этапов исследования». Это также должно пояснить, чем эта фигура и, возможно, вслед за ней наше исследование могут оказаться полезны именно сейчас. Хотя, начиная заниматься исследованием поведения творческой единицы в катастрофические времена¹, автор в любом случае не мог знать, что мы окажемся в аналогичных к моменту его публикации. Возможно, он даже полагал, что собственные времена потому и позволяют исследование более отдаленных, что не являются сами такими уж интересными – то есть такими, в какие не рекомендуется жить. Скажем, это нежданная и, возможно, нежелательная актуальность исследования, претендовавшего быть всего лишь историческим разысканием.

Впрочем, что касается конструкции метода, то здесь были сразу же внесены существенные коррективы самим материалом. К моменту завершения исследования его метод можно было определить как этюд по *научно-технической истории литературы*. Когда стали оформляться контуры понимания, какую роль играли (фото)техника и (научные) факты в системе Третьякова, пришлось построить парадигму *литературного позитивизма*, что и стало объектом исследования, а теперь и заголовком книги. Однако фотография в примерно современном виде изобретается к концу 1830-х годов, тогда же пишется «Курс позитивной философии»², после чего аналогии с наукой и аргумент «всего лишь фотомеханической фиксации» преследуют – и иногда манят – литературу на протяжении почти века к тому моменту, когда в руках Третьякова окажется Leika, а в его голове укоренится идея фактографии. Стало быть, корни *литературного позитивизма* ведут в XIX век, в который нам и пришлось продлить парадигму, посвятив ему вторую часть исследования³.

Однако в какой бы степени техника фото- и практика фактографии ни были обязаны XIX веку, раннесоветская литература факта обращалась к ним по-новому, иначе не стоило бы и заводить о ней речь. Решающим обстоятельством была революция – но не только политическая или последовавшая за ней *революция языка* (с которой мы и начинаем проследивать судьбу литературы факта), но и предшествовавшая им обоим научно-техническая революция рубежа веков, которая и сделала возможным возникновение того, что мы называем *дискурсивной инфраструктурой авангарда*⁴. Поэтому так важно, что первые манифесты русского футуризма и формализма приходятся на 1913 год и, тем самым, предшествуют Октябрю. Так же важно, что подобная инфраструктура, основанная на аналогичных научных открытиях и технических изобретениях, возникла и в других странах, где политической революции в 1920-е годы не случилось.

¹ Оно проходило с 2018 года при кафедре славистики в Женевском университете, где и было защищено в 2021 году.

² Первая запатентована в 1839 году, второй опубликован в 1842-м.

³ Эти события в истории науки и техники совпадают с основанием отечественной традиции критического письма Белинским и натуральной школой, которыми мы и датируем основание *литературного позитивизма*. Том «Литературный позитивизм. XIX век» в данный момент готовится в издательстве V-A-C press.

⁴ Это понятие мы заимствуем у Фридриха Киттлера. Обычно оно переводится на английский как *discours networks* (а уже с него – на русский), что кажется нам довольно неточным и лишь отчасти передает значение немецкого *Aufschreibesysteme*. Дословно оно означает «систему записи» и у Киттлера часто подразумевает даже не столько творческую процедуру (*письмо*), сколько моторную операцию (*записи*), осуществляемую, разумеется, в плотном сотрудничестве с различными медиатехниками – если только не вдохновленную ими. Для нас, в свою очередь, важно сохранить и те обертоны, которые связывают медиаархеологию Киттлера с *дискурсивной* археологией Фуко, и те, которые возникли в ходе употребления понятия на английском, не сводя при этом понятие к некой слишком нематериальной «сети», поэтому мы, как правило, говорим о *дискурсивной инфраструктуре*. См. подробнее: Kittler F. Discourse Networks 1800–1900.

Одним словом, советская фактография возвращается к позитивной науке и записывающей технике XIX века уже с опытом модернистской революции медиума и, следовательно, осведомленной о том, что помимо и, возможно, до всяких передаваемых *фактов* есть еще и *фактура* медиума и материальность означающего, которые в существенной степени определяют всё, что может быть сказано и сообщено. Факты Третьякова это уже далеко не позитивные факты Конта, равно как и сделанные им фото ставили его в принципиально иную позицию по отношению к фотографическому диспозитиву, нежели та, в которой оказывался Гоголь, будучи первым русскоязычным автором, запечатленным на фото (в колонии русских художников в Риме), или Некрасов, предъявленный фотоаппарату на предсмертном ложе. Третьяков субъективировал эту технологию и перестраивал сам метод своего письма ввиду технологии фотофиксации, тогда как до него литературе приходилось скорее обороняться от ее эпистемического влияния и как-то выгораживать свою автономию.

Таким образом, литература факта – это уже не раннеавангардистский жест редукции к медиуму, но еще и не пассаистское желание пролетарских писателей (или их партийных руководителей) вернуться к сокровищнице буржуазных жанров XIX века. Фактография – это сложное амальгамирование реалистической тенденции с модернистской революцией. Если, как это обычно принято представлять, вторая претендовала отменить первую и находилась с ней в антитетических отношениях, то можно задуматься о том, что могло бы выглядеть как их синтез. От первой фактография брала научные аллюзии, от второй – техническую фразеологию. Сообразно этой, возможно несколько старомодной, диалектической логике можно периодизировать и этапы литературного позитивизма (а также образуется и композиция нашего исследования в двух томах). Если на первом этапе литература начинает крутить пашни с наукой, то на втором к ним добавляется техника (и отчасти затмевает предыдущую фаворитку)⁵. Наконец, только на третьем этапе все «сменяется или осложняется» еще и революционной (языковой) политикой. Периодизировать этот последний этап и настоящее издание, таким образом, можно 1917–1937 годами.

Именно поэтому – если оставить за пределами этой книги предысторию советской фактографии, уходящую в позитивизм XIX века, и модернистскую революцию медиума соответственно – мы рассматриваем литературу факта, начиная с Октябрьской революции (хотя собственные первые футуристические опыты Третьякова также принадлежат к 1913 году), и доводим ее историографию не только до Первого съезда Союза писателей (в котором еще участвовал Третьяков), но до позднейших опытов и рефлексии Шаламовым своего метода «новой прозы» – как формы слежения фактографии в лагере и в политико-эстетической оппозиции «всему прогрессивному человечеству» (в 1937 году Третьяков был расстрелян, а Шаламов отправлен на Колыму). Отдельным, можно сказать, прилагающимся сюжетом является продолжение, которое последовало в немецком и французском левом авангарде в форме аналогичных тенденций фактографического толка (отчасти под непосредственным влиянием идей Третьякова).

И все же основные парадоксы фактографии связаны с Третьяковым, поэтому мы и хотели бы придать дальнейшему изложению в этом предисловии форму перечисления этих парадоксов, возможно, не дающих ответа на «предельные вопросы», но проливающих свет на то, почему фигура Третьякова является центральной для теории, если уж не истории литературы XX века.

⁵ Первый период несколько условно можно датировать годом первой статьи Белинского (в которой он приходит к выводу о том, что «у нас нет литературы», 1834) и годом смерти Писарева, которому удается в последних статьях добиться исчезновения «эстетики в физиологии и гигиене» (1868). Второй столь же условно продолжается с этого момента и вплоть до следующего знаменательного события – Октябрьской революции (языка) в 1917-м. Именно по этой причине подробный анализ первых (дореволюционных) манифестов футуризма и формализма мы также проводим в параллельно готовящемся томе «Литературный позитивизм. XIX век» (далее – ЛП).

1. Как в некоей картографии истории идей, так и в редакционном коллективе «ЛЕФа» Третьяков размещается примерно между Арватовым и Шкловским, между производственным жизнестроительством и психотехниками авангарда. Все осуществляемые автором сдвиги – в географии, социальной или медиальной среде – могут быть рассмотрены как восстановление некоего (утраченного) баланса в отношениях между искусством и (социальной) жизнью ценой отказа от автономии литературы (см. аргументацию Арватова в «Искусстве и производстве»⁶), но могут быть прочитаны и просто как экспериментальные сдвиги и «ход конем» в интересах самой литературы (см. формулировки Шкловского в «О писателе и производстве»⁷). Наиболее нейтрально это может быть определено как нахождение *приемом* своего *материала*, чуть более парадоксально – как «падение на быт», двигатель литературной эволюции и способ производства литературных фактов⁸. Третьяков оказывался идеально размещен на пересечении аргументаций формального литературоведения и теории пролетарской культуры, чтобы быть чувствительным к обеим и не сводиться целиком ни к одной из них. Учитывая, что сегодня не существует никакого нормативного видения социальной функции литературы – или программы ее полной автономии, такая осцилляция даже не между полюсами, а между ракурсами и координатными сетками не может не провоцировать пытливое размышление.

2. Следующей за программой формального литературоведения – или даже отчасти параллельно с ней и работой самого Третьякова – была программа металингвистики Бахтина, или постформализм, как ее иногда стратегически называют. С этой точки зрения практика Третьякова была не менее примечательна и также может послужить ряду теоретических инсайтов. Одной из первых работ Бахтина была «Проблема героя и автора в художественном творчестве»⁹, где между этими двумя актерами выстраиваются крайне нежные, почти семейные отношения (автор занимает позицию *вне* мира героя и с этой позиции «вненаходимости» заботливо *восполняет* мир героя недоступным тому «избытком видения и знания» и *завершает* его как художественный мир, как произведение искусства). Даже с этих протодиалогических позиций систематические намеки, а затем и практика участия Третьякова в жизни своих персонажей представляется крайне примечательной. Можно сказать, что Третьяков, не зная ничего о Бахтине¹⁰, реагирует на его постулаты, полемически противопоставленные в эти годы «материальной эстетике» формализма и, можно предположить, в еще большей степени производственности¹¹.

Начиная с первых пьес, основанных на документальном материале («Рычи, Китай», «Противогазы»), продолжая биоинтервью («Дэн Ши-Хуа») и заканчивая колхозными очерками («Месяц в деревне»), Третьякова-автора связывают с его героями крайне примечательные и, мы бы сказали, товарищеские отношения, иногда переходящие в соавторство и точно не сводящиеся к «одностороннему акту», направленному на объект или материал (что как раз можно было бы назвать позитивистским отношением). «Работа по живому человеку»¹² велась Третья-

⁶ Арватов Б. Искусство и производство: Сб. статей. М.: Пролеткульт, 1926.

⁷ Шкловский В. О писателе // Новый ЛЕФ. 1927. № 1. С. 29–33. Позднее в сборнике материалов работников Лефа (1929) текст получит название «О писателе и производстве». См.: Литература факта. С. 194–199.

⁸ Этими формулировками мы связываем, в свою очередь, поиски Третьякова с фразеологией Юрия Тынянова – еще одного формалиста, публиковавшегося в «ЛЕФе», – как, возможно, наиболее резонансной и наименее исследованной. Ср., к примеру, «новый конструктивный принцип падает на свежие, близкие ему явления быта» (Тынянов Ю. О литературном факте // Леф. 1924. № 2. С. 101–116).

⁹ Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности / Предисл. С. Бочарова // Вопросы литературы. 1978. № 12. С. 269–310.

¹⁰ Бахтин был на пару лет младше, провел все годы активной работы Третьякова в провинции, больнице или под домашним арестом, но пережил его почти на сорок лет.

¹¹ Герои «не могут быть просто „созданы“ творческой активностью автора, как не могут и стать для него только объектом или материалом», <иначе> «творчество художника понимается как односторонний акт, которому противостоит не другой субъект, а только объект, материал, превращается в чисто техническую деятельность» (Там же).

¹² Как это восхищенно назвал его давний друг и коллега Н. Чужак, справедливо не сознавая будущих зловещих обертонов

ковым в конечном счете в ориентации на кантианский императив, при котором другой индивид должен быть не средством, но целью, как, к примеру, Дэн Ши-хуа – автором продолжения своей же собственной (авто)биографии, а не только собеседником – принципиально диалогического жанра биоинтервью. В случае пропаганды газетной фактографии – этого «эпоса наших дней» – Третьяков также систематически возвращается к вопросу «врастания в авторство»:

О какой «Войне и мире» может идти речь, когда ежедневно утром, схватив газету, мы по существу перевертываем новую страницу того изумительнейшего романа, имя которому наша современность. Действующие лица этого романа, его писатели и его читатели – мы сами¹³.

«Действующие лица романа» далеко не всегда «его писатели и читатели» – такое совмещение могло иметь место в редких металеptических экспериментах и начинает систематически происходить только в модернистской метапрозе. Если «действующие лица» попадают сюда скорее из лексикона ранних театральных экспериментов Третьякова, чем из теории прозы и повествования, то новым в «нашем эпосе» в сравнении с драмой становится то, что устранялась фигура *внеаходимого* автора, драматурга, а герои-читатели получали право самоуправления на письмо.

3. Наконец, можно перевести эти контрверзы и на международный уровень теоретических дебатов конца 1920-х годов. В ходе своих берлинских лекций Третьяков немало взбудоражил немецких современников, ныне известных как титаны модернизма, своим желанием *покончить с литературой, какой они ее знали*. Кракауэр полагал это рискованным отказом от гуманистических ценностей; Деббин отвергал это как утопизм, рассматривая функцию писателя более пессимистично; наконец Готфрид Бенн и вовсе заподозрил в Третьякове агента ЧК (что намного больше говорит о том, как идеология работает в любителе чистого искусства, искривляя его эстетическую оценку, – через пару лет Бенн вступит в НСДАП). С другой стороны, более традиционно настроенные и левоангажированные литераторы также смущены формалистско-эстетским отношением Третьякова к таким важным вещам, как классовая борьба в литературе, и потому вынуждены признать его подход мелкобуржуазным и противоречащим доктрине «социалистического реализма».

Только одному критику удалось понять, что Третьяков предлагает ни много ни мало трансформацию производственных отношений в искусстве, которая должна превратить писателя из поставщика эмоциональных идентификаций для читателя в «оперирующего писателя»¹⁴. В этом Беньямин видел радикальную оппозицию соцреализму и навязываемому им эмоционализму отождествления с героем – этот аффект можно было бы квалифицировать как фашистский. На такие у них с Третьяковым и Брехтом был одинаково острый нюх. Можно сказать, что все они боролись против тотализации – как правой, так и левой, – прибегая к средствам монтажа. Лучше всех опасность, исходящую от этой прогрессивной литературной техники, уловил Лукач, называя теорию монтажа нигилистическим суррогатом искусства:

«Культ фактов» – скудный суррогат такого подлинного знания правды. И если этому суррогату придается беллетристический блеск, по внешности красивая (в действительности, только гладкая) внешность, если искусственную

такой формулировки: Чужак Н. Литература жизнестроения // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н. Ф. Чужака [Переиздание 1929 года]. М.: Захаров, 2000. С. 63.

¹³ Третьяков С. Новый Лев Толстой // Новый ЛЕФ. 1927. № 1. С. 34–38.

¹⁴ «Я хотел бы обратить ваш взгляд на Сергея Третьякова и на определенный и воплощенный им тип оперирующего писателя. Этот оперирующий писатель дает нам убедительнейший пример функциональной зависимости, в которой всегда и при любых обстоятельствах располагаются верная политическая тенденция и прогрессивная литературная техника» (Беньямин В. Автор как производитель / Пер. с нем. Б. Скуратова, И. Чубарова // Логос. 2010. № 4. С. 125).

прозу причисляют под «современный эпос», то положение литературы от этого становится только хуже¹⁵.

Именно соединение авангардной установки с литературной техникой модернизма делает Третьякова более грозным противником «старолитературного отношения к вещам», чем любого адепта «культа фактов» или обладателя навыка и вкуса к «беллетристическому блеску» по отдельности. Очевидно, что так ожесточенно теоретическая дискуссия может вестись только на фоне параллельно разворачивающейся политической борьбы. Через пару лет все участники этого спора покинут Берлин: Брехт и Бенямин отправятся в изгнание в западном направлении, а Лукач вернется в Москву проектировать соцреализм. Третьяков также вернется в Москву, но соцреализму будет скорее противостоять, за что поплатится жизнью (формулировка Лукача появляется в партийном издании в год расстрела Третьякова). Однако, перед тем как задаваться вопросом, не был ли Третьяков близок к принятию соцреализма, стоит сначала задать другой вопрос: не мог ли благодаря Третьякову соцреализм стать монтажной прозой оперирующего писателя?

4. Третьяков оказывается уникальной фигурой, которая встает вровень с Маяковским и Шкловским, Брехтом и Бенямином, если внимательно изучить документы и переписку (не довольствуясь названиями улиц и станций метро, на которые ему не повезло)¹⁶. Прибавочной интеллектуальной стоимостью, впрочем, обладает не декларация «абсолютной величины», а те связи, которые олицетворяет собой тот или иной агент поля и которые мы стремимся реконструировать в этой книге. Третьяков интересен как единственная фигура, которая охватывает собой не только период с первых манифестов формализма-футуризма до Первого съезда советских писателей, но и основные методологические споры XX века и концептуально связывает их собой (то есть не ограничивается случайными встречами с кем-то в эмиграции или в высоких кабинетах, но систематически втягивает в теоретический диалог) – речетворчество Крученых с теорией эпического повествования Лукача, ostrанение Шкловского с очуждением Брехта, пролетарианизм Маяковского со свидетельствами Шаламова. Эти воплощенные программы существовали в своих универсумах, и только благодаря коммутации Третьякова, связанного лично со всеми ними, сейчас возможно представить концептуальную встречу этих позиций.

Так, если взять только одну из таких контрверз, то незадолго до того, как Горький, Лукач и другие светочи соцреализма будут призывать вернуться к сокровищнице буржуазного культурного наследия XIX века и убеждать, что Бальзака и Толстого вполне достаточно¹⁷, Третьяков по-футуристски поставит под вопрос неприкосновенность классиков в свете новых медиатехник («О какой „Войне и мире“ может идти речь, когда ежедневно утром, схватив газету...») параллельно формалистской ревизии наследия Толстого. В этом исследовании мы ставили перед собой задачу вывернуть наизнанку этот тезис и показать, что в них самих уже есть кое-что от Третьякова и Лефа – понимание социомоторной стороны писательства (Толстой), и интерес к технике распространения знаков и материальности носителей (Бальзак), и, прежде всего, поиск современной их научно-технической эпохе практики письма. Другими

¹⁵ Лукач Г. Исторический роман // Литературный критик, 1937.

¹⁶ В этом смысле Третьяков периода «Нового ЛЕФа» был еще одним, альтернативным «концом авангарда», возможно даже более проблемным, чем в случае прямого противостояния или «стилистических расхождений с советской властью». Олицетворяя альтернативную и также подавленную версию советского, он до последнего (до Первого съезда и даже позже) отстаивал ценности монтажной формы, фактографического отношения к материалу и оперативного писательства. Здесь мы имеем в виду многолетний диалог о концах (и началах) русского авангарда с моим научным руководителем, чья работа была посвящена петербургской ветви авангарда: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Пер. с франц. Ф. Перовской. СПб.: Академический проект, 1995.

¹⁷ Наиболее одиозная формулировка с Первого съезда принадлежит Радеку: «Если дело идет о том, чтобы уметь дать в индивидуальном типичное, – для этого нам Джойс не нужен. Для этого нам достаточны как учителя Бальзак, Толстой» (Первый всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М.: ГИХЛ, 1934. С. 372).

словами, сделать Третьякова точкой фокализации предшествующих и последующих этапов литературной эволюции.

5. Наконец, приближаясь к еще более деликатным материям – тогдашних и сегодняшних дней, необходимо сказать в заключение о *Третьякове как имени политического момента*.

Брехт в мае 1932 года приезжает в Москву для показа фильма «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?» (сам этот приезд заслуживал киносъемки: на том же поезде возвращается после Мексики Эйзенштейн, а на вокзале с Третьяковым их встречают Ася Лацис, Бернард Райх и Эрвин Пискатор; нацисты еще не пришли к власти, но все перечисленные уже предпочитают держаться восточнее, сам Брехт эмигрирует севернее в следующем году, Бенъямин – западнее, а сомнений в том, кому принадлежит мир, все больше)¹⁸. После показа они едут смотреть мавзолей, клуб комсомола, и Третьяков светится гордостью, а Брехт сообщает позднее в письме Бенъямину: «В конце концов я несколько устал и не мог уже восхищаться всем этим, равно как и не хотел. Вам показывают, вот их солдаты, вот их танки. Прекрасно, но не мои»¹⁹. Брехт, очевидно не мог почувствовать себя дома «на настоящей своей родине», как позже в письме назовет ее Третьяков. Ему самому, интернационалисту и патриоту Советского Союза, было легче спутать свою паспортную принадлежность с идеологической (всего пару лет назад Маяковский пишет «Стихи о советском паспорте»). Брехт же при всех усиленных попытках гибридизации их (трагически) четко разделял, хотя и охотно продолжал считать Третьякова «единственным человеком [в Советском Союзе], держащимся в своей работе верной линии»²⁰.

В сегодняшнем интересе к Третьякову сходятся неприятие как героев либерального здравого смысла, отъехавших на философском пароходе, так и людоедов имперского ресентимента. Интереснее обоих этих типов реакции на всякую сложную или даже катастрофическую историко-политическую ситуацию, в которой мы снова оказываемся, задаться вопросом, что могло бы быть левой альтернативой (если такая вообще возможна). Последний пример, который может быть важным различительным критерием для сегодняшнего дня. Когда Брехт бежит от приходящих к власти нацистов, он передает с Рихтером, едущим в Москву, свою пьесу для Третьякова. Тот переводит ее на русский язык, а также стремится поставить. В 1933 году перевод пьесы Брехта на русский очевидно казался им обоим не только возможным, но и необходимым, хотя постановка пьесы левого драматурга в Москве уже была невозможна.

Возможно, для года 2023-го Третьяков – это прежде всего пример того, как можно продолжать работать согласно своим убеждениям и умениям вопреки внешнему давлению и, можно предположить, его эху – внутренней усталости. Продолжать работать и бороться против фашизма, даже когда отменяются один за одним шансы представить публично результаты своей работы, при том что в этом прискорбном историческом сценарии было меньше всего идеологической вины этого бойца «левого фронта искусств».

Июнь 2023

* * *

Всякое письмо есть не только персональная задача, но и коллективное предприятие, имеющее, как утверждает приводимая ниже работа, свои продуктивные институциональные приращения (*contraintes*) и медиатехнические расширения (*extensions*). По этой причине невозможно обойтись без их упоминания и адресованных лично благодарностей.

¹⁸ Подробнее о фильме см.: Куле Вампе, или Кому принадлежит мир? Брехт, Эйслер, Дудов / Сост., пер. с англ. К. Адибекова. М.: Свободное марксистское изд-во, 2011.

¹⁹ Benjamin W. Reflections. New York: schocken Books, 1978. P. 206, перевод наш.

²⁰ Willett J. (ed.) Brecht on Theatre: London: Eyre Methuen, 1973. P. 65.

Впервые вкус к теоретической разработке конкретного кейса – литературы факта – был символически и институционально поддержан приглашением Патрика Серио в Centre de recherches en épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECELECO, Université de Lausanne), которому я обязан как первыми прочитанными на французском источниками, так и собственно постепенным заражением логикой этого языка и, как считается, вытекающими из него методологическими склонностями. Благодаря 2013–2014 учебному году, проведенному в Лозанне, к сюжету из советской литературы оказался привит лингвофилософский метод, в результате чего литература факта превратилась из «последней попытки называть вещи своими именами» в способ «совершать действия при помощи слов», а также получила заманчивые теоретические резонансы (прежде всего, с философией обыденного языка). Однако совершить при помощи слов за пару семестров удалось не так много, и за ними последовало возвращение в Петербург, где результатом работы независимых интеллектуальных инициатив стало обнаружение у многих действий на письме некоего инструментального бессознательного, фиксируемого понятиями от *прагматической поэтики* до *технологических метафор*. Этим периодом разработки теоретического сюжета я обязан семинару «Прагматика художественного дискурса», итог работы которого в 2015–2016 годах был подведен блоком публикаций «Что говорение хочет сказать», к которому я написал методологическое введение и первую обширную статью, посвященную литературе факта²¹.

Параллельно этому происходило «возвращение имени» Сергея Третьякова в научный обиход, с которым данное исследование также генеалогически связано – которому обязано и в котором участвовало. Так, в 2015 году в Цюрихе состоялась первая конференция, практически целиком посвященная фактографии²², и именно ей я обязан «перезагрузкой» своего интереса к литературе факта, а также рядом публикаций в англо- и франкоязычных научных и художественно-теоретических журналах²³.

Наконец, испытывая незавершенность собственно академической разработки сюжета, осенью 2016 года я познакомился с Жаном-Филиппом Жаккаром, который был мне известен как автор книги «Даниил Хармс и конец русского авангарда». Об этом периоде и эпизоде у меня были отличающиеся данные: по моим сведениям, конец русского авангарда действительно разворачивался в 1927–1929 годах, но в редакции «Нового ЛЕФа»; с обсуждения точных координат крушения и начался наш многолетний диалог о концах (и началах) русского авангарда, которому я обязан поддержанием уже не только теоретического, но и исторического интереса к сюжету литературы факта, точно так же, как институциональной поддержке Жана-Филиппа – несколькими годами работы в университете и библиотеке Женевы, в которых территориально и исторически сходились многие герои данной работы²⁴, что – учитывая положение «после», но «там же» – наделяло чувством исключительных резонансов и в конечном счете привело к развитию интереса к материальной истории литературы и науки – в политическом контексте эпохи.

²¹ Арсеньев П. К конструкции прагматической поэтики (введение редактора блока «Что говорение хочет сказать: прагматика художественного дискурса»); *Он же*. Литература факта высказывания: об одном незамеченном прагматическом повороте // Новое литературное обозрение. 2016. № 138. С. 117–132, 182–195.

²² International conference «Mapping Early Soviet Union By «Participant Observation» in Literature, Film and Photography (1920–30ies)» (org. Tatiana Hofmann, Sylvia Sasse, Universität Zürich, Oktober 2015). В 2017 году, в свою очередь, фигурой «фактовика» заинтересовались и московские институции, организовавшие целый фестиваль «Третьяков. doc», включавший научную конференцию, выставку, серию кинопоказов фильмов по сценариям, а также постановку по пьесе Третьякова.

²³ Arseniev P. Sergey Tretyakov between Literary Positivism and the Pragmatic Turn // Russian Literature. 2019. № 103–105. P. 41–59; *Id.* La littérature du fait d'énonciation: un tournant pragmatique inaperçu au cœur de l'avant-garde russe // Ligeia: dossier sur l'art. 2017. № 157. P. 146–157.

²⁴ И прежде всего, Фердинанд де Соссюр, читавший курс общей лингвистики в 1907–1911 в аудитории, ныне нумерованной В105, а также Владимир Ленин, писавший в те же годы свою главную философскую работу, впоследствии «составленную с невероятной быстротой в Женеве», в местной библиотеке.

Необходимо также сказать, что написание этой работы было бы психологически невозможно без доверия, оказанного мне факультетом, и полученной от него в 2018 году стипендии, которая впервые подсказала, что работа может и должна быть закончена, а мое пребывание в «городе изгнанников» на короткий период получило чуть более стабильный характер. Наконец, параллельно институциональному касанию с университетом Женевы продолжались и мои контакты с петербургской художественно-теоретической сценой, организованные продолжающимся изданием журнала [Транслит]. Институциональная драма, организованная между полюсами кафедры и редакции, получила надежду на разрешение в ходе подготовки конференции «От вещи к факту: материальные культуры авангарда»²⁵, которую по предложению Жана-Филиппа Жаккара мы подготовили вместе с Анник Морар, чей интерес к эмигрантской ветви русского авангарда, в свою очередь, позволил подойти к его культурной и материальной истории в терминах мировой «республики словесности» (или, скорее, «искусства коммуны»). Год спустя после той международной конференции, которая позволила собрать специалистов со всей Европы, был опубликован выпуск журнала, в чьих выходных данных уже соседствуют Петербург и Женева, а его редактор благодарит за поддержку кафедру русской литературы Университета Женевы²⁶.

В заключение я не могу не поблагодарить тех товарищей, что составили себе труд прочесть отдельные главы работы и высказать чрезвычайно резонные замечания – Марину Симанкову, Михаила Куртова и Олега Журавлева, организовать мои лекции по мотивам отдельных глав, которые позволили их обогатить, – Анастасию Осипову (University of Colorado in Boulder) и Джейсона Сипли (в Hamilton College, New York), а также подготовить публикации, частично пересекающиеся с главами, – Сергея Ушакина (Princeton University)²⁷ и Валерия Золотухина (Theatrum Mundi)²⁸, а также Сюзанну Штретлинг (Freie Universität Berlin), диалог в письмах с которой уже на самом последнем этапе еще раз убедил, что сюжет фактографии неисчерпаем и всякое приближение к завершению всегда сулит и очередное теоретическое приключение²⁹. Чисто технически подготовка окончательной версии библиографии была бы невозможна без помощи Тимофея Тимофеева.

Наконец я хотел бы поблагодарить и тех, кто не давал превратиться окончательно в библиотечного человека и к кому я сам обращался за диагностикой и тренировкой других групп мышц, – и прежде всего мою мать Татьяну Русакевич и сына Матвея.

²⁵ «От вещи к факту: материальные культуры авангарда» / «De la chose au fait: les cultures matérielles de l'avant-garde» (Университет Женевы, 10 мая 2019), организаторы Павел Арсеньев, Анник Морар.

²⁶ Транслит. 2020. № 23 («Материальные культуры авангарда»).

²⁷ За публикацию «От словотворчества к словостроительству: Винокур, Платонов, Третьяков в дискурсивной инфраструктуре авангарда» по мотивам доклада на еще одной конференции (Москва, 2019) и впоследствии вышедшей в одноименном с ней тематическом блоке «Авангард жизнестроительства: От эстетического проекта к социальному прорыву» (составители Ольга Соколова и Сергей Ушакин), опубликованном в «Новом литературном обозрении» № 173 (1/2022). С. 34–61.

²⁸ За публикацию «Постановка индексальности, или Психоинженеры на театре» (в сборнике Theatrum Mundi. Подвижный лексикон. Гараж. txt, 2021), частично пересекающейся с одноименной главой.

²⁹ Интермедияльная Одиссея Сергея Третьякова // Colta.ru. URL: <https://www.colta.ru/articles/art/27089-pavel-arseniev-beseda-iskusstvovedy-kniga-sergey-tretyakov-ot-pekina-do-pragi-putevaya-proza-1925-1937-godov>.

Введение

Литературный позитивизм

Объектом нашего исследования является история *литературного позитивизма*, начало которой мы датируем натуральной школой и «Современником» Белинского, а окончание – литературой факта и «Новым ЛЕФом» Третьякова.

Для построения парадигмы литературного позитивизма стоило бы начать с «натуральной школы» (повести Гоголя и критика Белинского), а также конструкции жанра «физиологического очерка» как формы *литературной эпистемологии*, то есть такой формы письменного поведения, которое существует в XIX веке ввиду первых успехов естественных наук и в ходе становления автономии литературы³⁰. Если в 1840-е годы дух позитивных наук передается литературе посредством социологии (Конт), то во второй половине века особенно активно начинает действовать фразеология экспериментальной медицины и физиологии (Золя), а в русской литературе и критике на смену желанию точно передать факты общественной жизни приходит убеждение, что «мы не врачи, а сама боль» (Герцен).

В подобном диагнозе мы видим начало перехода литературных физиологий к модернистской самообращенности литературного высказывания, которую принято рассматривать как примету автономии словесности от параллельных рядов, но которая, однако, тем более точно отвечает сдвигу самой научной эпистемологии к психофизиологии восприятия и речи и так называемому «второму позитивизму» в философии (науки). В частности, в готовящейся сейчас книге, рассматривая *дискурсивную инфраструктуру* русского авангарда на материале ранних манифестов футуризма (Крученых, Хлебников) и формализма (Шкловский), мы высказываем гипотезу о том, что заумная поэзия обязана оборудованию фонетической лаборатории. Это позволяет очертить парадигму *литературного позитивизма*, вписанного уже не только в научную эпистему своей эпохи (как в случае «литературных физиологий» – на уровне трансфера идей и фразеологии науки), но и обязанную своим успехом определенной дискурсивной технологии.

Однако прежде всего понятие литературного позитивизма кажется нам приложимым к советским 1920-м годам и возникшему тогда понятию «литературы факта». Поэтому задачей нашего исследования, которое велось в 2018–2021 годах в университете Женевы, стала реконструкция одновременно эпистемологического и технологического горизонта «очерков, правдивых как рефлекс». Начиная с первой главы предлагаемого издания мы показываем, как парадигма *литературного позитивизма* реагирует на Октябрьскую «революцию языка» и стремится передавать факты, однако прошедшие уже сквозь записывающие устройства авангарда и обязанные своей конструкцией инструментам социалистической трансляции (газета и радио). Главным эпизодом такого *литературного (нео)позитивизма* оказываются литература факта и ее теоретик и практик Сергей Третьяков, эволюции творчества которого в основном и посвящена центральная часть исследования. Литература факта смыкается с аналогичными тенденциями в немецком и французском левом авангарде (зачастую под непосредственным влиянием идей Третьякова), а продолжается в такой форме послезития фактографии, как «новая проза» Варлама Шаламова.

³⁰ Такой ретроспективный ход мы предпринимаем в готовящейся сейчас к изданию книге: Арсеньев П. Литературный позитивизм в XIX веке. М.: V-A-C press, 2023 (готовится к изданию).

Метод научно- и материально-технической истории литературы

Всякая технология, включая дискурсивную, становится более заметна на фоне других технологий, поэтому мы и предпринимаем столь рискованный шаг, делая объектом одной части исследования «натуральную школу», другой – заумную поэзию, а третьей – «литературу факта», объединяя их все к тому же в традицию «литературного позитивизма» и, соответственно, связывая с соответствующей научной и лингвистической эпистемологией. Это позволяет как *специалистам по литературе XIX века*, так и *специалистам по советскому авангарду*, не говоря уж об исследователях *истории науки и философии языка*, воспринять это исследование как чужеродное. Однако только в таких исторической перспективе и методологическом диапазоне можно понять, что представляет собой столь странное предприятие, как литературная «физиология» в XIX веке и запись «фактов» в XX веке.

Если фразеологические акценты в истории *литературных позитивизмов* будут в целом сохраняться (смещаясь только вследствие дрейфа самой позитивистской традиции от науки к философии языка)³¹, то параллель между условно постромантической и условно постфутуристической ситуацией необходима, чтобы показать, как примерно одна и та же программа – *натуралистического, документального, антириторического* описания – трансформировалась, приспособляясь к различной эпистемологической и технологической среде³². По этой самой причине части исследования будет отделять не только фокализация на XIX и XX веках соответственно, но и переживаемый на их рубеже некоторый методологический сдвиг – от *общей истории науки и литературы* к *материально-технической истории литературы*. В этом, однако, нет ничего удивительного, если учесть, что еще до того, как литературой будет обнаружен собственный материальный обиход, ее уже интересует синхронный научный контекст.

Если мы говорим о литературе в исторической перспективе, мы не можем упустить из вида то, что в XIX веке литература (столь же обязанная определенной материальности, как и в любую другую эпоху) сама мыслит себя скорее *областью представлений* и намного в меньшей степени (чем та же наука) понимается как *материальная практика*. Именно поэтому она избирает своим «зеркалом» научные идеи и представления, даже если те существовали в науке в качестве очень конкретных техник обращения с данными, образами и даже самостью³³. Поэтому и *смежная история (joint history) науки и литературы* в XIX веке может быть организована вокруг контактов ключевых имен русского реализма и столь же ключевых эпизодов научно-технического прогресса: Гоголь встречается лицом к лицу с фотоаппаратом, Тургенев – с производством бумаги, Достоевский – с телескопом, а Толстой – с фонографом. Иногда это реальные контакты с научно-техническим прогрессом (Гоголь, Толстой), местами – метафорические obsessions (Достоевский); иногда сознаваемые, а иногда бессознательные или даже вытесненные связи литературной и научной эпистемологии. Именно частотный случай

³¹ Здесь за модель анализа принята «археология знания» Мишеля Фуко, в которой естественные и гуманитарные науки существуют в рамках общей эпистемы, рассматривают ли они домены жизни (в биологии), труда (в политической экономии) или языка (в философии языка/лингвистике). См. подробнее: *Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук* / Пер. с франц. В. Визгина, Н. Автономовой. М.: Прогресс, 1977.

³² Здесь мы, соответственно, опираемся на модель медиаархеологического анализа Киттлера, отправляющегося от литературных текстов и рассматривающего их прагматико-медиалогическое бытование. См. подробнее: *Kittler F. Discourse Networks 1800–1900* / Trans. by M. Metteer, C. Cullens. Stanford: Stanford UP, 1990.

³³ *Дастон Л., Галисон П. Объективность* / Пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. Писарева. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

вытеснения заставляет нас ввести понятие *эпистемологического бессознательного* литературной техники.

Когда же литература к XX веку все больше осознает собственную материальность и начинает «состоять не из идей, а из слов», связь – зачастую довольно ревнивая – с наукой никуда не исчезает, но теперь все чаще понимается не через идеи, а через конкретные материально-технические приспособления. Конечно же, они обязаны, прежде всего, научному прогрессу и двигают его сами, но очень часто они еще и переоборудуют литературу.

Возможно, *материально-техническая история литературы*, к которой мы в случае материала XX века переходим, подсказывает нечто о направлении и закономерностях литературной эволюции, которую Тынянов оставлял еще вполне комбинаторной дисциплиной, избегая референции к параллельным рядам. Как и науку, литературу можно понимать прежде всего как *технику записи* – еще до того, как говорить о ее идеологических эффектах, рецептивной конвенции, конструируемой социальности. Если наука еще может быть признана «параллельным рядом», что тем более не исключает методологической возможности выстраивания разного рода параллелизмов (но и тем самым надежно развести их домены: параллельные линии не пересекаются), то материально-техническая «обшивка» процедуры письма уже не вопрос «внешней политики» литературы, но вместе с тем не сводится и к сугубо внутренним, имманентным ее проблемам. Материальность техник записи существует на границе, в переходе между планами референции и опосредования.

Параллельными рядами у формалистов называются потому, что они, возможно, еще рассчитывают сохранить евклидову гуманитарную науку – ту, где параллельные ряды никогда не пересекаются. Задача же медиатехнически чувствительной филологии как раз уяснить и описать пересечения между искусством и технаукой, текстуальным и социальным, семиотическим и физическим.

Раздел I. Революция языка и инструменты социалистической трансляции

Записывающие устройства позволили зафиксировать болезнь языка накануне произошедшей в нем революции, а на нее саму возлагались надежды на исцеление. Диапазон рецептов простирался от восстановления подлинного языка народа до изобретения искусственного нового языка пролетарского общения и конструирования совершенного медиума прозрачной коммуникации. Однако прежде чем перейти к истории поисков совершенного языка в советской культуре и другим эпизодам советской революции языка и медиа, необходимо наметить несколько более широкую перспективу, которую мы связываем с понятием *литературного позитивизма*³⁴.

В случае дореволюционного авангарда речь все еще зачастую шла о технологическом *бессознательном*, после же революции языка литература начинает пользоваться техникой уже вполне *сознательно*, а потому она не ограничивается записью сигналов и материальных следов, которые ей диктует медиум, но снова обращается к *вещам, внешним литературе* (или изобразительной плоскости – в производственном искусстве). Как литературный позитивизм XIX века не скрывал своих эпистемологических симпатий (*физиологический очерк, натуральная школа*), так и литературный позитивизм XX века уже хорошо знает, что человек теперь существует только с киноаппаратом и другими аппаратами записи, и поэтому в литературе (факта) тоже будет эмулироваться их работа.

Однако почему литературная, фото- и кинофактография уже не довольствуется записью факта самой произошедшей записи, как это было еще совсем недавно в заумной поэзии? Почему на сцене (и позже – на страницах) снова появляются некие *факты*, не сводящиеся к индексальной записи? Дело в том, что наряду с научным методом и записывающей техникой, которые эмулировались литературным позитивизмом XIX века и дискурсивной инфраструктурой авангарда соответственно, появляется еще один фактор, определяющий работу научно-технической конструкции литературы. Это социальная революция, которая становится решающим фактором для всех литературных изобретений, обсуждающихся в этой книге.

Ее предпосылки, однако, почти невозможно рассматривать отдельно от научно-технической. К примеру, уже упоминавшийся во введении диспозитив фонографа позволял «записывать» в литературу не только «простое как мычание» речевое поведение авангардных поэтов, но и *голос народа*. Или, во всяком случае, вдохновляться технической возможностью такой записи, изобретение которой позволяло делать политические выводы, идущие едва ли не дальше, чем художественные интуиции. Более того, иногда литературное и политическое воображаемое, стимулируемые фонографом, переплетались, а желание авангардистов разучиться воспринимать слова и малограмотность огромной части населения сходились в феномене звукозаписи³⁵.

Даже если фонограф еще не так распространен в первые десятилетия XX века³⁶, именно он создает условия для технологического воображаемого не только заумной поэзии, «работающей с голоса», но и пролетарской литературы, рассчитывающей передать *голос*, а значит, и

³⁴ Как уже было сказано во введении, исследованию предшествующим эпизодам литературного позитивизма посвящено готовящееся издание. См.: «Литературный позитивизм. в XIX веке» (Далее – ЛП).

³⁵ Подробнее об этнографических экспедициях Туфанова и его выводах о близости языка крестьян и заумной поэзии см. в эссе «„Объективная поэзия“ и телесная трансмиссия» (ЛП).

³⁶ При этом в первые десятилетия XX века действует на территории Российской империи уже более 20 фирм грамзаписи, благодаря чему звучащий в записи звук плотно входит в быт россиян.

волю или даже *душу народа*, отзвуки которой, казалось, навсегда растворились в осциллограммах «звуковых пятен»³⁷ – вместе с метафизикой «духа народа».

Политическое воображаемое революции языка зачастую оказывается куда более анахроничным, чем дискурсивная инфраструктура авангарда, чья пропускная способность сводилась к *слову как таковому*. Так, советская революция языка снова заводит речь о трансцендентальных феноменах вроде души и воли (народа), тогда как инфраструктура дореволюционного авангарда страдала скорее от дефицита политической сознательности – как и *сознания* вообще, в традиционном смысле слова, – и представляла собой лишь поверхность записи. После того, как трансцендентальный аппарат был расширен и дополнен технически, функция сознания была во многом делегирована медиуму.

В этом контексте политический вопрос: «Могут ли угнетенные говорить?» (а также чувствовать, мыслить и действовать без руководящей роли авангарда) становится одновременно технологическим. Синтезируя традицию литературного позитивизма и физиологического очерка XIX века с техническими изобретениями и материальной чувствительностью авангарда, литература факта будет решать еще и актуальную политическую задачу наделяния угнетенных способностью и даже обязанностью высказываться. Литературный позитивизм XX века больше не говорит *от имени народа*, но посредством литературной и медиатехники *подключает* собственный *голос народа*, который поначалу звучит так же странно, как и заумная поэзия (поскольку обеспечивается той же технологией), – собственный голос в записи всегда звучит странно для впервые услышавшего его. Опишем, однако, сначала общий контекст Октябрьской революции языка и его научно-технические гибриды.

³⁷ Шкловский В. О поэзии и заумном языке. С. 9. См. подробнее о формалистском понятии «звукового пятна», его связи с технологиями фонетической лаборатории и родстве с *image acoustique* у Соссюра в эссе «Слова и вещи в инфраструктуре авангарда, или Несколько гипотез о происхождении зауми» в ЛП.

Лингвистика и политика (о революционной ситуации в языкознании)

Революция языка «разрешала многие вопросы отцов» с той же легкостью, что и заумная поэзия. Как мы покажем, это были взаимосвязанные предприятия, и все же «передать язык в руки говорящих» – пользовались ли они речевыми жестами или заумными звуками – было рискованным предприятием. С одной стороны, сам Соссюр называет язык формой «общественного договора», не оставляя в нем ничего естественного³⁸. С другой, республиканская лингвистика еще пока «исключает возможность какого-либо общего и внезапного изменения»³⁹. Для того чтобы развязать «революцию языка», понадобится контакт между французской лингвистикой и российской политикой.

По расхожему выражению, приписываемому Бисмарку, социализм можно попробовать строить в стране, которой не жалко, она же неожиданно оказалась и наиболее «плодотворной почвой для понимания теории Соссюра»⁴⁰. Почву для революции языка подготавливали «иностранные агенты» вроде Бодуэна де Куртенэ, работавшего в Санкт-Петербургском университете⁴¹. Бодуэн солидарен с Бреалем в том, что необходимо изучать живые языки в речевой деятельности, а не историю языка по письменным источникам. Наряду с идеями, близкими или даже предшествовавшими открытию Соссюра⁴², он разделял еще и практику, фиксируя в экспедициях фонетические особенности славянских языков и диалектов⁴³. От Соссюра его отличает только то, что он считал возможным воздействовать на развитие языков, а не только описывать их состояние.

Откуда пошел «формализм»? Из статей Белого, из семинария Венгерова, из Тенишевского зала, где футуристы шумели под председательством Бодуэна де Куртенэ?⁴⁴

Бодуэну приходилось не только председательствовать, но и обсуждать теорию «слова как такового»⁴⁵. Возможно, наследование происходило *не по прямой линии*, и многие выводы дяди-лингвиста были превратно истолкованы племянниками-авангардистами, но, если язык уже был понят как «живой», исторически изменчивый и институциональный феномен, до «сознатель-

³⁸ Вопрос о степени «естественности» науки о языке задает еще Бреаль в своих эссе по семантике как науке о значениях (*Bréal M. Essai de sémantique (science des significations)*. Paris: Hachette, 1897; см. предпоследнюю главу «La linguistique est-elle une science naturelle?»), однако окончательно статус «социального факта» будет закреплён за «языком как таковым» в «Курсе общей лингвистики». См. об этом эссе «Социальные факты и язык как таковой» в ЛПП.

³⁹ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 75.

⁴⁰ Слюсарева Н., Кузнецова В. Из истории советского языкознания. Рукописные материалы С. И. Бернштейна о Ф. де Соссюре // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 35. № 5. С. 441.

⁴¹ Бодуэн де Куртенэ работал в Петербургском университете в 1900–1918 гг., и уже в 1891 г. «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» описывает его как «одного из выдающихся современных лингвистов».

⁴² «...посмертная книга Ф. де Соссюра, которая многими была воспринята как некое откровение, не содержит в себе буквально ничего нового в постановке и разрешении общелингвистических проблем по сравнению с тем, что давным-давно уже было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой» (*Поливанов Е.* За марксистское языкознание. М.: Федерация, 1931. С. 3–4).

⁴³ Именно опыт экспедиций Бодуэна, по мнению многих историков лингвистики, ляжет в основание фонологии Якобсона – Трубецкого. См. подробнее очерк его ученика: *Щерба Л. И.* А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке // Русский язык в советской школе. 1929. № 6. С. 63–71.

⁴⁴ *Томашевский Б.* Формальный метод (Вместо некролога) // Современная литература: Сб. статей. Л.: Мысль, 1925. С. 144.

⁴⁵ Одной из первых академических реакций на этот диспут станет заметка: *Бодуэн де Куртенэ И. А.* К теории «слова как такового» и «буквы как таковой» // «Отклики» (бесплатное приложение к газете «День»). СПб., 1914. № 8 за 27 февраля.

ного вмешательства» – будь то в повстанческой форме «революции в языке» или в пореволюционной «языковой политике» – оставался один шаг⁴⁶.

В том же месяце, когда умирает Соссюр, в Москве появляется листовка «Пощечина общественному вкусу», в которой заявляются «права поэтов на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество)», а «к существовавшему до них языку» высказывается «непреодолимая ненависть»⁴⁷. Так же, как позднейшие эксперименты литературных (психо)физиологий оказались бы невозможны без институциональной поддержки советской власти⁴⁸, футуристские претензии к языку как *таковому* образца 1913 года скорее всего остались бы маргинальной декларацией прав поэтов (изучаемой столь же немногочисленными специалистами), если бы в 1917 не произошла Октябрьская революция. Когда уроженец Женевы Соссюр называл язык неявно разделяемой социальной конвенцией, для ее сознательного пересмотра не хватало только чрезвычайных социальных полномочий и исторических акторов, которые были неведомы старейшей в Европе республике⁴⁹.

Помимо синхронного резонанса (диссонанса) между языком как системой и подрывной политикой, настроениями женевского лингвиста и московских поэтов, запретом сознательного вмешательства на уровень языкового «законодательства» и заявлением прав на «слово-новшество»⁵⁰ – существовало и некоторое встречное движение – или даже генеалогическая связь – лингвистики и политики. После ареста за социал-революционную деятельность будущий языковед Сергей Карцевский, как и множество политэмигрантов до и после него, приезжает в 1907 году в Женеву, где вскоре становится слушателем курса Соссюра, а в 1917 году, когда вновь представляется возможность от лингвистических штудий перейти к политической борьбе, возвращается в Россию. Параллельно Карцевский успевает читать лекции в Московской диалектологической комиссии: именно он в 1918 году знакомит русскоязычную публику с идеями Соссюра. Из заседаний комиссии позднее разовьется Московский лингвистический кружок, в котором участвовали, в числе прочих, Jakobson, Маяковский и Крученых⁵¹.

...главное было в афоризмах, бросавшихся мимоходом постоянно бывавшим в МЛК Маяковским. Из каждого такого афоризма Jakobson, Брик и Винокур строили теории, в чем Jakobson позже признавался и в печати⁵².

⁴⁶ И, возможно, решающим в этом шаге будет как раз отмеченное немецкое влияние: если для Соссюра язык (*langue*) был *рациональной системой*, для футуристов он станет *трансрациональной материей*, как обычно переводят на европейские языки слово *заумь*. См. эссе «Заумь как реакция на кризис позитивизма» в ЛП.

⁴⁷ Бурлюк Д., Хлебников В., Крученых А., Маяковский В. Пощечина общественному вкусу. М., 1912. С. 7. Как полемическая листовка «Пощечина общественному вкусу» опубликована в феврале 1913 года, за два месяца до этого 18 декабря 1912 года в Москве в издании Г. Кузьмина и С. Долинского тиражом 600 экземпляров вышел из печати альманах «Пощечина общественному вкусу» с одноименным манифестом.

⁴⁸ О Богданове см. эссе «Неотправленное письмо и несколько способов перелить кровь» в ЛП.

⁴⁹ Барт называет лингвистику Соссюра демократической, то есть основанной на общественном договоре свободных граждан между собой, вне биографической связи с городом-республикой Женевой, одной из старейших демократий Европы, но в некоторой параллели с Руссо (*Barthes R. Saussure, le signe, la démocratie* P. 225).

⁵⁰ Во франкофонном пространстве преобладает «une histoire idéale du formalisme présentée comme une généalogie de la linguistique structurale. <...> Jakobson insiste d'emblée sur la fécondité de la rencontre entre les poètes (Majakovskij, Pasternak, Aseev et Mandelštam) et les «jeunes expérimentateurs» du Cercle linguistique de Moscou (MLK) dont il a lui-même été membre, puis de l'Opojaz (Société pour l'étude du langage poétique), créé par Osip Brik à Petrograd. Il montre ensuite comment la linguistique structurale s'est inventée dans ces cercles» (*Matonti F. Premières réceptions françaises du formalisme. Retour sur Théorie de la littérature // Communications*. 2018. № 2 (Le formalisme russe cent ans après). P. 45).

⁵¹ Они не только присутствуют, но и выступают с докладами. Так, Крученых в 1921 году делал сообщение «Об анальной эротике в русской поэзии», о чем упоминает в очерке об истории МЛК Jakobson. (см.: *Jakobson P. Московский лингвистический кружок / Подг. текста, публ., вступ. заметка и прим. М. И. Шапира // Philologica*. 1996. Т. 3. № 5/7. С. 362).

⁵² См. воспоминания Бориса Горнунга, секретаря Московского лингвистического кружка в последние годы его существования. См.: *Горнунг Б. Заключение // Он же. Поход времени: В 2 кн. М.: РГГУ, 2001. Кн. 2. С. 369.*

Впрочем, материалом как минимум одной лекции Григория Винокура в МЛК 5 марта 1923 года послужил не афоризм Маяковского, а «Курс общей лингвистики»⁵³. В том же году пристальное знакомство с идеями Соссюра начинают ученики Бодуэна де Куртенэ в ленинградском отделении союза языковых революционеров⁵⁴. Агиографический нарративный режим требует закрепления легенды об основании в материальных объектах: поговаривали о двух-трех экземплярах «Курса», циркулировавших в Москве⁵⁵. Так же, как в случае тетрадок «Современника» со «Что делать?» Чернышевского, которые изымались цензурой и переписывались от руки, теперь речь идет о неких готовящихся, но по загадочным причинам оставленных переводах; начатых, но так и не опубликованных рецензиях. Словом, первые годы после революции призрак идей Соссюра бродит по молодой Советской республике в полном соответствии с ранее сформулированными принципами призракологии. Ну а Карцевский и Винокур, первые русскоязычные апостолы Соссюра, станут и его наиболее свободными интерпретаторами, говорящими в связи с языком о революции. Племянники продолжают уводить наследство по боковой линии, а российская интеллектуальная традиция – развиваться путем неправильного/вольного *перевода* идей с французского или немецкого⁵⁶.

Поскольку даже первый манифест футуризма-формализма в бытность докладом студента-филолога Виктора Шкловского в Петербурге носил название «Место футуристов в *истории языка*», неудивительно, что и для московских революционных лингвистов отнюдь не произвольность знака как элемента системы, а скорее ее состояние, якобы надежно застрахованное от исторических разрывов и прорывов, становится предметом критики. Различный политический опыт (как и уже упоминавшийся различный технологический опыт⁵⁷) заставляет Якобсона даже через десятилетие после *Октябрьской революции языка* чистую синхронию называть иллюзией и подчеркивать способность систем эволюционировать⁵⁸.

Если считать язык социальной конвенцией (или исключающей возможность вмешательства традицией), он оказывается не только собственным объектом изучения лингвистики, но и объектом для нападков революционно настроенных поэтов и философов языка. Как это уже было с немецкой идеалистической философией, превращенной Белинским в «чисто русский катехизис практической жизни»⁵⁹, теория Соссюра будет прочитана деятелями советской «революции языка» в столь же практическом или даже авангардном ключе. На этот раз, впрочем, своевольному переводу с французского способствует само знакомство с немецкой философией (которого так не хватало еще Белинскому). Как и все, что ускользало от *воли* народа столь долго, лингвистический знак теперь должен был быть ей подчинен, а его (как раз охотно признаваемый всеми) произвольный характер – развязать руки «футуристам – строителям

⁵³ Детальную стенограмму этого обсуждения – первого документированного изложения идей Соссюра перед кругом ЛЕФа – см.: Тоддес Е., Чудакова М. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка // Федоровские чтения. 1978. М.: Наука, 1981. С. 242–245.

⁵⁴ Наряду с Е. Д. Поливановым, Л. В. Щербой и С. И. Бернштейном к Петербургской лингвистической школе принадлежал Лев Якубинский, который не только активно публиковался в «Сборниках по теории поэтического языка» (1916–1919), но и резко критиковал «социологический метод» Соссюра (то есть Дюркгейма). См.: Якубинский Л. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Языковедение и материализм. Вып. 2. М.; Л.: Соцэкгиз. С. 91–104.

⁵⁵ Винокур Г. Культура языка. (Задачи современного языкознания) // Печать и революция. 1923. № 5. С. 105 (сноска 2). Владимир Алпатов сообщает, что Карцевский вернулся в Москву после февраля 1917 с томиком «Курса общей лингвистики». См. интервью Хиршкопа с Алпатовым от 13 октября 1999, состоявшееся в Университете Шеффилда. цит. по: Hirschcop K. Linguistic turns, 1890–1950. P. 107 n9.

⁵⁶ Здесь мы снова понимаем перевод (идей) не в строго лингвистическом смысле, а как медиалогическую процедуру, где среда неизбежно взимает свои «налоги» за прохождение – порой делая идеи почти неузнаваемыми.

⁵⁷ См. о гипотезе происхождения зауми как «моторной» реакции на кризис семиотического позитивизма в эссе «Не из слов, а из букв: заумь и печатная машинка» в ЛПИ.

⁵⁸ См.: Тынянов Ю., Якобсон Р. Проблемы изучения литературы и языка // Новый ЛЕФ. 1928. № 12. С. 35–37.

⁵⁹ Семен Венгеров, семинарий которого посещает (и критикует) Шкловский, называет достоинством русской критики способность «претворять заимствованные извне отвлеченные системы в нечто вполне самостоятельное, в чисто русский катехизис практической жизни» (Венгеров С. Эпоха Белинского. СПб.: Светоч, 1915. С. 11).

языка». Собственно, уже в этом ставка на *голос* – *волю* – *душу* народа и внимание к «звуковым пятнам», обеспеченные общим научно-техническим оборудованием, совпадают и политически.

Этот принцип пересмотра спекулятивной конвенции, перехода к сознательному «деланию вещи» будет распространен далеко за пределы сознательного строительства и использования языка – помимо движения (в биомеханике) и внимания (в психотехнике) он затронет практически всю повседневность; как признается Шкловский, «вероятно, мы даже пальто надеваем неправильно»⁶⁰. То, что полагалось на любую – в том числе языковую – конвенцию и инерцию (традиции), теперь должно быть пересмотрено, переизобретено и на время работ изъято (экспроприировано) из общественного употребления. Футуристы претендуют на узурпацию демиургических функций в тех самых чрезвычайных институциональных условиях, которые по версии Соссюра невозможны. Кто был маргинальным пользователем языковой системы («ником»), становился ее сознательным организатором («всем»).

⁶⁰ Шкловский В. Стандартные картины и ленинская пропорция (1928) // За 60 лет. М.: Искусство, 1985. С. 59. В конечном счете такой подход тоже обязан позитивизму – только не французскому «семиотическому», а немецкому «психофизиологическому» – и вышедшему из него производничеству.

Политики голоса и медиатехники коммуникации

Революция языка разворачивается не только в процессе взлома языка как системы (*langue*) немногочисленными поэтами-лингвистами: она вскоре перекидывается и на повседневную речевую деятельность (*langage*) говорящей массы, без поддержки которой никакая «сознательная интервенция» авангарда не оказалась бы успешной. По замечанию Майкла Горэма, события 1917 года не только вдруг сделали говорение политически заряженным поведением, но и спровоцировали появление сразу нескольких «языковых культур» или «политик голоса»⁶¹. По нашему мнению, однако, такого лингвопрагматического сдвига акцента недостаточно и во всяком учреждении коммуникативной способности на новых основаниях необходимо видеть эффект не только политической революции (с которой лингвисты уже научились обращаться), но и технологической революции. Тем более, что советская «революция языка» (Винокур) разворачивалась не только в области теории языка и литературного процесса, но и в газетной периодике и на радио. Все эти институциональные домены по отдельности и во взаимосвязи с остальными нам и предстоит рассмотреть, поскольку именно на их пересечении и возникает литература факта.

Вместе с тем *взятие слова* народом было не просто автоматическим следствием новых технических возможностей, но и стратегическим вопросом политического выживания большевиков: испытывая дефицит материально-технической базы, они были вынуждены сосредоточиться на утверждении своей символической власти. По мнению Горэма, вообще мало что, кроме нового языка, могло быть предъявлено в качестве примет нового социополитического порядка. Большевики по-витгенштейновски расширяли мир нового человека средствами новояза⁶², подобно тому как авангардная поэзия тематизировала материальность означающего в материально очень стесненных обстоятельствах, но вопреки (если не благодаря) этому ей и удавалось предложить самые радикальные версии «революции языка», которые до определенного момента развиваются синхронно с социальной революцией.

Было, впрочем, в Октябрьской революции языка и кое-что помимо языка. Как известно, первой целью большевиков стал захват «почты, телефона и телеграфа», что выдает в их лидерах не только признанный многими ораторский талант, но и реже отмечаемую чувствительность к медиатехническим условиям коммуникации⁶³. Пока книги футуристов еще печатаются на обоях, а Наркомпрос проводит кампанию повышения грамотности, чтобы наделить новых

⁶¹ Среди них Горэм выделяет *революционную, народную, национальную и партийно-государственную*, которые конкурируют и частично пересекаются друг с другом на протяжении 1917–1934 гг. Используя в качестве центрального понятия «языковые культуры» (*language cultures*) или «голоса» (*voices*), Горэм выносит в заголовок своей книги другое и сильно маркированное понятие той же семантической группы: *speaking in tongues* («говорение на языках») в современном английском указывает на глоссологию – понятие, объединяющее божественную вдохновенность речи со сползанием в нечленораздельность. Однако упомянутым понятиям не хватает конкретизации на уровне коммуникативной материальности, благодаря которой они сформировались и существовали. См. подробнее: *Gorham M. Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.

⁶² Такая перспектива призвана мотивировать чисто лингвистическую перспективу исследователя. Говоря о «политиках голоса» (*politics of voice*), Горэм опирается на «металингвистику» Михаила Бахтина, а также набрасывает ее краткую предысторию: Кондильяк и энциклопедисты, писавшие о социальных корнях языка, Маркс, признававший силу слова, наконец в XX веке Барт, Бурдьё, де Серто, Фуко и другие представляют собой авторов культурно (лингвистически) чувствительных исследований языка (культуры) – доминирующих метафор, устройства нарративов, типов речевых актов. Вся эта традиция анализа языка и власти от Кондильяка до Фуко остается, однако, нечувствительна к медиатехнической среде циркуляции означающего. См. критику «археологии знания», оставляющей без внимания аппараты записи в предисловии к: *Kittler F. Gramophone, Film, Typewriter*. Stanford: Stanford University Press, 1999, а также альтернативный «медиалогический канон» – традицию мыслителей от Дидро до Леруа-Гурана, уделявших значительное внимание именно инструментам записи, хранения и передачи знаков в: *Anthologie: une sélection propose par R. Dumas // Cahiers de médiologie*. 1998. № 6. P. 294–320.

⁶³ Вероятно одной из первых попыток обратить на это внимание был сборник: *Советская власть и медиа*. Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсгена. СПб.: Академический проект, 2005.

граждан Советской республики возможностью сознательного дискурсивного участия в политической жизни страны, продолжается дискуссия о «языке нашей газеты» и начинает развиваться утопическое радиовоображаемое⁶⁴. Именно резонанс художественной, политической и медиатехнической революций обеспечит «гигантский расцвет речи», как это назвал Луначарский, уверенный, что «человек, который молчит в эпоху политических кризисов, это получеловек»⁶⁵. Если еще недавно «специалисты по словам» ценились в двадцать раз меньше, чем те, кто способен провести химический опыт или препарировать лягушку (то есть быть скорее субъектом, а не объектом лабораторных опытов Маррея), то теперь способность что-то толком высказать составляет уже половину успеха субъективации⁶⁶.

Учредительная для субъекта коммуникативная способность не только «дается революцией», но еще и всегда опосредуется определенной материальностью коммуникации и меньше всего может рассматриваться как бесплотная в случае *Октябрьской революции языка*. Всегда в истории информированные граждане появлялись не только в результате просветительской политики и политической индоктринации, но и в силу удачных переговоров между культурой и техникой (Дебре). Распространение революционной вести сопровождается как новым способом апроприации информации (Шартье), так и сговором послания с медиумом (Маклюэн), а право на голос (или даже обязанность говорить) не только осуществляется благодаря словарю *революционной фразеологии*, но и сопровождается новыми медиатехниками высказывания и обеспечивается скоростью отправки сообщений (Киттлер).

Поэтому учреждение нового человека не сводилось к трансцендентальной спецоперации и говорение оказывалось не просто гражданским правом, но и обязанностью⁶⁷, а угнетенные должны были (учиться) говорить сразу из конкретной дискурсивной инфраструктуры, где газета (и позже радио) играет определяющую роль. Как мы увидим, не только «язык нашей газеты» является предметом полемики лингвистов, а литераторы называют газету «нашим эпосом», но и сами «вопросы языкознания» обсуждаются на самом высоком уровне, а политика партии в области литературы формулируется на страницах «Правды».

Медиа- и, шире, культурные техники предшествуют всякой субъективности, публичной сфере и другим либеральным добродетелям⁶⁸. Медиаистория исключает такую потребительскую оптику, в которой все оказывается дружелюбной средой для коммуникации частных граждан, куда не вмешивается государство, а техника начинает существовать только в момент выхода на рынок «дружелюбного интерфейса». Как можно догадаться, в мобилизационной ситуации, когда ведется организованная борьба с «частно-квартирным потреблением» и вытекающими из него жанрами литературы и социального существования, новые техники коллективной коммуникации определяют собой всякое передаваемое («идеологиче-

⁶⁴ Если в дискуссию о «языке нашей газеты» вовлечены, как мы покажем ниже, участники в диапазоне от Троцкого до Винокура и Третьякова, то радиооператорством грезят деятели в диапазоне от Ленина до Хлебникова и Крученых. Подробнее см. ниже главу «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики» и «Радиооператор, расширенный и дополненный» соответственно.

⁶⁵ Записки Института Живого Слова. Пг.: 1919. С. 22.

⁶⁶ См. подробнее о самокритике литературы перед лицом естественных наук, а также трудовой терапии «Рассказчика» в главе «Нежный эмпиризм на московском морозе».

⁶⁷ Вопрос: «Могут ли угнетенные говорить?» (Г. Спивак) будет сформулирован только в 1960-е годы, а 1920-е склоняются не только к утвердительному ответу (*могут*), но и к переводу модальности возможности в модальность долженствования: угнетенные *должны* говорить. См. об этом подробнее: Spivak G. C. Can the Subaltern Speak? // C. Nelson, L. Grossberg (eds). Marxism and the Interpretation of Culture. Chicago: University of Illinois Press, 1988. P. 271–313; а также Калинин И. Угнетенные *должны* говорить (массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е – начало 1930-х годов) // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: НЛЮ, 2012. С. 587–663. Ср. (анти)феминистскую версию «обретения речи» по Ахматовой ниже.

⁶⁸ Как показывает Бернард Зигерт, понятие *cursus publicus* в латинском мире означало почтовую службу, созданную Августом и исключавшую частное использование. См. подробнее: Siegart B. The Fall of the Roman Empire // Materialities of Communication, 1994. P. 303–318, а также более обширное исследование, посвященное такому «реле» литературной активности, как почта: Siegart B. Relays: Literature as an Epoch of the Postal System. Stanford: Stanford University Press, 1999.

ское») содержание. Ни у кого из современников не возникает иллюзии, что *идеологические аппараты* государства запаздывают или лишены технической оснастки в стране, где советская власть идет в комплекте с электрификацией.

Глава 1. Поиски совершенного языка в советской культуре между самосознанием медиума и записью фактов

При всей возросшей в начале 1920-х дискурсивной продуктивности политического и художественного авангардов, «революции языка» (в версии Винокура) угрожает опасность, а «расцвет речи» (в версии Луначарского), не обеспеченный технически, откладывается. Уровень языковых компетенций неграмотного большинства часто приводит к непониманию, неверным толкованиям или даже недоверию к языку новой власти. Язык революции оказывается скорее непрозрачным, его восприятие – затрудненным (как и добивались в «соседних рядах» формалисты), а немалая часть населения продолжает оказывать власти «языковое сопротивление» (каковой можно назвать и саму заумь). Все это говорит о том, что не только язык, но и *медиа технику* Октябрьской революции еще только предстояло изобрести⁶⁹.

В дискуссии о *языке советских газет*, которая окажется определяющей для литературы факта, эти вопросы, однако, еще не вполне разграничиваются между собой. Так, смешивая собственно лингвистические соображения с медиакоммуникативными, Я. Шафир предлагает советской газете «говорить с крестьянином на его же языке»:

До сих пор наши газеты главное свое внимание посвящали тому, что *должно быть*, по-нашему, в деревне, и сравнительно очень мало говорили о том, *что есть*. Такой подход оказывается недоступным, непонятным для крестьянина. Надо поэтому от него отказаться⁷⁰.

Фактически переворачивая 11-й тезис Маркса о Фейербахе и риторически отсылая к нему («До сих пор наши газеты...»), Шафир объясняет такой переход от перформации к констатации рецептивными ожиданиями крестьянства. При этом он призывает

не заниматься все время агитацией, лозунгами, кампаниями, а давать, главным образом, информационный *материал*, – всякий: местный, иностранный, внутренний, – *в нашем освещении*. Тут будет с нашей стороны, не отказ от сущности, от содержания нашей агитации, а лишь изменение формы, подхода, метода⁷¹.

Наделяя агитацию, то есть побуждение к действию, довольно непривычной для нее изъяснительной модальностью (вместо «должно быть» – «что есть»), Шафир уверен, что такой акцент на наличном материале не означает отказа от агитации, но только видоизменяет ее форму и метод. Иначе говоря, сама действительность, будучи точно описана (подана «в нашем освещении»), должна стать *ажитирующей*. Как это уже не раз случалось в истории литературного позитивизма, акцент делается на точной и непосредственной передаче фактов, которые все скажут *сами за себя*⁷². Такой «научный» подход будет одновременно и лучшей политической пропагандой – пропагандой делом (*propagande par le fait*), выгодно отличающейся от той, что сводится к словам⁷³.

⁶⁹ Разницу между этими программами – нахождения и изобретения языка – можно обозначить формулами Рембо и Малларме. Если первый рассчитывает «найти язык» (*trouver une langue*) (*Rimbaud A. Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871*), то второй уже говорит уже о необходимости «собрать для себя инструмент» (*composer un instrument*), хотя и «тоже посвятить его Языку» (*Малларме С. Кризис стиха. С. 579*).

⁷⁰ Шафир Я. Газета и деревня. М.; Л.: Красная новь, 1924. С. 63.

⁷¹ Там же. Курсив в обоих случаях наш.

⁷² См. подробнее об этом аргументационном заимствовании из науки, к примеру в «Экспериментальном романе» Золя в эссе «Трансфер экспериментального метода от Бернара к Золя» в ЛП.

⁷³ См. подробнее о «парлефэтизме» в эссе «Par-le-faitisme, или пропаганда делом» в ЛП.

Этот отчетливый эпистемологический симптом *литературного позитивизма* не стоит считать наивным аргументом или регрессом от прагматической к референциальной модели языка. Если в 1924 году апологеты языка народа считают, что изменение (грамматической) формы не меняет сущности (агитации), то формалисты, в свою очередь, начинают заново открывать для себя материал. Не кто иной как воскреситель слов и вещей Виктор Шкловский, отмечает меняющийся характер острания: если до революции его приходилось вырабатывать субъекту (чтобы привести себя в чувство), то в результате революции сдвиг произошел в самой реальности и необходимость в экзотизирующей оптике отпала: «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством»⁷⁴.

В итоге на место заумной поэзии как парадигматического примера формальной поэтики приходит интерес Шкловского к внесюжетной прозе и литературе факта, избегающей деформации материала и описывающей *вещи как они есть*. Однако посредством каких медиа они «есть» и на какие культурные/литературные техники указывают – остается вопросом, к которому нам придется вернуться ниже.

Наконец, вопрос перераспределения агентности между дискурсивной инфраструктурой и позитивными фактами и вытекающей отсюда конкуренции различных «языковых культур» при снова остающемся в тени, хотя и лежащем у всех перед глазами печатном медиа встает на дебатах первой конференции рабселькоров в ноябре 1923 года⁷⁵. Здесь стратегия поднятия уровня речевых навыков масс до уровня советских газет (Бухарин) противопоставляется стратегии приспособления уровня самих газет к языку *и* действительности народа (редактор газеты «Беднота» Лев Сосновский).

Если Бухарин отстаивает активную трансцендентальную роль авангарда, Сосновский стоит скорее на позициях сенсуалистской теории языка, которая предпочитает речевой активности мозгового центра данные с мест. Впрочем, в этой редакции полемики фронт между языком и материалом несколько смещается, поскольку теперь на местах уже существует не только инертный материал, требующий сбора, но и какой-никакой *язык народа*⁷⁶, который обладает номинальной трансцендентальной ценностью – именно как «простой», и потому «сознательное вмешательство» чревато для него деформацией. Но эта дилемма относится уже не столько к внеположным языку социальным фактам (как было в *литературном позитивизме XIX века*), сколько к подвижной социально-коммуникативной ситуации и конкурирующим *дискурсивным инфраструктурам*, воспринимаемым всеми сторонами:

Трагично не то, что мы отпетые люди – интеллигенты и нам переучиваться сейчас на новый язык невозможно, но трагично то, что вы, рабкоры, пишете, как мы. И вот получается трагедия рабочего агитатора, вождя, – он теряет свой народный, простой, сочный, ясный, выразительный язык и вместо него получает штампованный язык наших газет...⁷⁷

⁷⁴ Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Москва/Берлин: Геликон, 1923. С. 383. По мнению Ильи Калинина, Шкловский «переживал революцию как столкновение с силой, способной перехватить у литературы инициативу по остранию привычного рецептивного контекста. <...> Парадоксальность революционной, фронтовой повседневности в том, что это она делает человека художником, в то время как автоматизированную мирную повседневность художественной должен своим остраниющим усилием сделать сам человек. <...> Экстремальная повседневность становится насквозь художественной реальностью». См. подробнее: Калинин И. Поэтика эксцесса и экономика дефицита: фетишизация революционного быта // Транслит. 2015. № 15–16 («Литературный быт, конфликт, сообщество»). С. 125–132.

⁷⁵ Подробные стенограммы публиковались в «Правде» с 17 по 28 ноября 1923 года.

⁷⁶ О разбросе того, что может пониматься под этим словосочетанием см.: Серю П. Язык народа / Пер. с франц. П. Арсеньева // Транслит. 2014. № 14. С. 6–16.

⁷⁷ Стенограмма выступления Л. Сосновского, опубликованная в газете «Правда» № 246, от 21 ноября 1923 года, цит. по: Виокур Г. Язык нашей газеты // ЛЕФ. 1924. № 2. С. 127.

К рефлекторной правдивости предъявляются все более и более конкретные требования. Среда языка или форма выражения после начатой революции языкового пятна уже признается как самостоятельная реальность, хотя и не все идут так далеко в материальной чувствительности к ней, как авангардные поэты или провозглашающие возможность сознательного языкового строительства лингвисты. Эпистемологическое требование «называть вещи своими именами» начинает звучать двусмысленно, поскольку появляется несколько «языковых культур» или «политик голоса», в связи с чем само «положение вещей» несколько отодвигается на второй план даже для рассчитывающих на достаточную пропускную способность (народного) языка.

Если пролетарская газетная литература занимает «сенсуалистские» позиции, а партия претендует на роль трансцендентальной инстанции, то воззрения ЛЕФовцев оказываются более диалектичны. Политическая революция состоялась (благодаря политическому авангарду), но революция культурная – трансформация повседневности, чувственности, эстетических привычек – еще впереди (и здесь не обойтись без авангарда художественного). Эту позицию разделяют не только авангардисты и многие «попутчики» (для которых, впрочем, как раз политическая революция остается под более серьезным вопросом, чем культурная), но и партийные деятели. Так, Троцкий полагает, что «немало на свете людей, которые мыслят как революционеры, но чувствуют как мещане»⁷⁸, указывая таким образом рассинхронизацию практического разума и эстетической способности суждения.

Впрочем, укорененные в философии и эпистемологии языка предшествующих веков⁷⁹ разногласия по поводу того, какому языку должно быть отдано предпочтение – только *следующему* революционной действительности или сознательно *опережающему* ее – в начале 1920-х еще не так остры в лингвистике и литературе, поскольку почти весь спектр акторов исходит из презумпции необходимости *переизобретения языка* в литературных или революционных целях и возможности революционной *языковой политики* или *политики поэтов*⁸⁰. Вопрос о том, должен ли язык точно отражать факты (революционной) действительности или последняя должна быть сама революционизирована посредством языка⁸¹, то есть раскол между парадигмами *литературного позитивизма* и *дискурсивной инфраструктуры*, станет принципиальным, когда синхронность двух этих рядов разойдется, а дилемма всякой (медиа)философии языка получит политическое звучание.

Далее версии и судьбы революции в языке несколько расходились – как и в случае любой революции. Карцевский, оказавшийся к 1922 году в берлинской эмиграции, будет говорить скорее о «языке революции», то есть новой лексике и фразеологии, через которую революция может поступать в язык или проступать в языке, но продолжит защищать усвоенный у Сосюра постулат о неизменности грамматической системы⁸². Винокур же в первом выпуске ЛЕФа 1923 года уже будет настаивать ровно на обратном – «революции языка», наиболее значимые «сознательные вмешательства» которой происходят как раз не на уровне лексики (заумного

⁷⁸ Троцкий Л. Литература и революция. М.: Директ-медиа, 2015. С. 184. Такой пример явного (хотя, возможно, и не сознательного) обращения к сенсуалистско-рационалистической фразеологии еще раз подчеркивает необходимость рассмотрения феномена языка революции в эпистемологическом контексте.

⁷⁹ Главной оппозицией здесь может быть названа оппозиция между эмпирической традицией терапии языка и трансцендентальной традицией творческого (речевого) акта, учреждающего собственную действительность.

⁸⁰ Понятие Жака Рансьера, позволяющее увидеть агентность за языковой политикой не только футуристического авангарда. См.: *Rancière J. La politique des poètes. Pourquoi des poètes en temps de la détresse.* Paris: Albin Michel, 1992. P. 87–88, 109–129. В русском переводе: *Рансьер Ж. Политика поэта: плененные ласточки Осипа Мандельштама* / Пер. с франц. С. Фокина // Транслит. 2012. № 12. С. 23–31.

⁸¹ См. к примеру: «ежели искусство протоколирует, а не организует, т. е. не забегает вперед, то ему место даже не в Лефе, а непосредственно у тов. Сосновского, на страницах сегодняшней „Правды“» (*Шершеневич В.* В хвост и в гриву // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1924. № 3. С. 24).

⁸² Карцевский С. Язык, война и революции. Берлин: Русское универсальное издательство, 1923.

словотворчества), но на уровне грамматических модификаций (словостроительства футуристов)⁸³.

Для революции, имманентной самому языку, характерно выказываемое Винокуром индустриальное бессознательное, которое ближе к сосюровской фразеологии «языковых механизмов»⁸⁴: если элементы языка и мотивированы, то его внутренними механизмами, и чем выше языковой ярус, тем больше он «накапливает» мотивированности благодаря числу подлежащих ему ярусов. Мотивация рождается из духа системности языка, но ее нельзя засечь на уровне сенсуалистских «простых идей» или неопозитивистских «атомарных фактов». Карцевский противостоит этой позитивистской политэкономии знака и, в свою очередь, как раз подразумевает, что знак более мотивирован именно в отдельных, простейших случаях вроде ономапии, а значит, и все дальнейшие языковые образования несут память о том же истоке (хотя она и последовательно убывает), а вернуться к нему можно только творческими усилиями (духа), преодолев, как читатель уже может догадаться, силу инерции и автоматизм привычки⁸⁵.

В зависимости от того, на какую из описанных лингво-эпистемологий опереться, язык окажется революционным либо потому, что он демонстрирует произвольный характер знака в системе политэкономического типа, либо потому, что может восстать против этой произвольности посредством трансцендентального, интенционального, коммуникативного или просто речевого жеста или акта (возвращения к «самим вещам»). Дело революции в языке/языка все время рискует соскользнуть к «изучению поэтического языка» – либо в режиме французской *esprit de systeme*, либо в режиме *Geist der Sprache*⁸⁶.

Возможно, поэтому склонность к (ре)мотивации знака на уровне (грамматической) системы, с одной стороны, или отдельных ее (лексических) элементов – с другой, может свидетельствовать не только о разных эпистемологических традициях, но и о двух различных типах политического *authority* – языка, сознательно конструируемого интеллигенцией/партией, или языка, рождающегося из народа, соответственно⁸⁷. Винокур, как член ЛЕФа, ближе к «системно-партийному» подходу, Карцевский – к «ономапоэтически-народному».

Один из примеров колебания между несколькими лингвофилософскими традициями и моделями находим в статье Винокура «Язык нашей газеты» (1924), которая настаивает на том, что новый язык является только «способом передачи фактов» и отражает их подобно «зеркалу данной эпохи»⁸⁸. Однако в статье «О революционной фразеологии» (1923) тот же автор использовал менее однозначное «соответствовал» и совершенно футуристическое «сдвиг»:

Вне этой фразеологии нельзя было мыслить революционно или о революции. Сдвиг фразеологический – соответствовал сдвигу политическому. Здесь были найдены нужные слова – «простые как мычание», – переход

⁸³ См. об этом подробнее следующую главу. В том же 1923 году Винокур делает обстоятельный доклад об идеях Соссюра в МЛК.

⁸⁴ См., к примеру, название главы VI и далее выражение *mécanisme de la langue* встречается на с. 176, 179, 226.

⁸⁵ Карцевский С. Язык, война и революции. С. 10.

⁸⁶ Этот эпистемологический симптом не стоит считать исключительно немецким (например, сенсуалистская философия языка Локка или Руссо также зачарована «предельными вопросами» происхождения языка), но с 1866 г. французская наука о языке институционально ограничивает себе глоттогенетический ход и занимается только актуальным состоянием языка. И все же можно видеть некоторые линии, по которым происходит раскол МЛК: так, если Якобсон, бывший франкофоном, часто говорит о необходимости изучать диалекты как «социальные факты», то Шпет, очевидно, испытывает определяющее влияние немецкой традиции «внутренней формы» (и оказывает влияние сам на многих членов кружка, включая Винокура).

⁸⁷ Ср. романтическую и модернистскую дискурсивную инфраструктуру в поэзии, которые по разному соотносились с «речью народа», исходя из институционально-технической организации контакта с ней (национальный театр и восковой валик фонографа). Об этом подробнее см. в эссе «„Объективная поэзия“ и телесная трансмиссия» в ЛП.

⁸⁸ Эта фразеология, в свою очередь, не может не напомнить об инструментальном воображаемом натуральной школы. См.: Винокур Г. Язык нашей газеты // ЛЕФ. 1924. № 2. С. 128.

*от восприятия которых к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел – и действуй!*⁸⁹

Если только определенный язык позволяет мыслить («революционно или о революции»), то Октябрьская революция языка оказывается замешана скорее на трансцендентальной философии языка (Гумбольдт)⁹⁰. Возможно, это версия, уже пережившая брентанианский синтез немецкого идеализма с естественными науками (вероятнее всего, с психофизиологией: «переход от восприятия... к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел – и действуй»)⁹¹. Однако наряду с немецкой лингво-эпистемологией можно заметить и следы добросовестного знакомства с французской политэкономией знака (Соссюр, Малларме): Винокур уподобляет лингвистический знак – денежному, а коммуникативную чувственность – социальной⁹².

Впрочем, как только успешный обмен знаками начинает подозреваться в спекулятивности, меновая стоимость – в отрыве от потребительной и возникают опасения обнищания чувственности («перестаем чувствовать вещи» Шкловский) или «способности что-то толком рассказывать» (Беньямин), мы снова оказываемся на территории немецкого духа. В то же время Винокур последовательно обращается к словарю французского позитивизма, называя речевые упражнения ближайших коллег по МЛК и редакции «ЛЕФа» «социальным фактом»⁹³. Вместе с тем футуристы были все еще достаточно близки к «языку народа» и наслышаны о затруднениях «безъязыкой улицы», чтобы рассчитывать не только на силы системы – языковой или политической, – но и на невозможное «сознательное вмешательство» (Соссюр) в нее или, точнее, «сознательную интервенцию» (Винокур).

Так, благодаря влиянию немецкой традиции «духа языка» (персонально на Винокура – через Шпета) появлялось срединное понятие *культуры языка (речи)*, в которой выразительность субординировалась коммуникативными задачами (а уже не метафизическими склонностями). Если помимо хаоса речи и закона системы существует *высказывание*, значит, можно оценить относительную функциональность тех или иных средств для достижения тех или иных целей. «Лингвистическая технология», «языковая политика» или «культура языка» позволяют синтезу Винокура располагаться на границе национальных эпистемологических традиций, а язык делают одновременно создаваемой (политической) системой или (технологической) средой, инструментом и культивируемой способностью, примиряя (французскую) лингвистику с (немецкой) филологией⁹⁴.

Но при всем износе или успешном обращении языковых знаков их медианосители не очевидны, а следовательно и *Октябрьская революция языка* в середине 1920-х годов – все

⁸⁹ Винокур Г. О революционной фразеологии. (Один из вопросов языковой политики) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 110.

⁹⁰ Упоминание двух модальностей мышления – *о революции / революционно* – указывает на то, что ни объект, предшествующий мышлению, ни перенимаемый от него способ мышления невозможны «вне этой фразеологии». Ранее в отношении такого объекта как *война* Маяковский допускал аналогичную вариативность письма: «Можно не писать о войне, но нужно писать войной» (Маяковский В. Штатская шрапнель. Вравшим кистью // *Он же*. Полное собрание сочинений в 13 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 1. С. 308–310).

⁹¹ Центральный вопрос немецкой трансцендентальной философии (языка) о каузальных отношениях между мышлением (языком) и реальностью будет все еще слышен не только в главных формулах марксизма (склоняющихся то к «руководящей роли» бытия в деле определения сознания, то к «необходимости изменения вместо описания» действительности), но и в таком локальном притоке «теплого марксизма», как теория восприятия Беньямина. См. ниже, главу 4. «Нежный эмпиризм на московском морозе и трудовая терапия „Рассказчика“».

⁹² «За всем этим словесным обнищанием, за этим катастрофическим падением нашей лингвистической валюты <...> кроется громадная социальная опасность» (Винокур Г. О революционной фразеологии. С. 113).

⁹³ В чем не отстают и сами «строителя языка». См.: Брик О., Маяковский В. Наша словесная работа. ЛЕФ. 1923. № 1. С. 40–41.

⁹⁴ Похожий синтез осуществляет Барт, говоря о «языке-фашисте» (как системе), «языке дровосека» (как идеальном инструменте) и «письме» (как вырабатываемой позиции, находящейся между законом системы и идиосинкразией стиля). См.: Барт Р. Мифологии / Пер. с франц. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004.

еще остается трансцендентальным предприятием, испытывающим дефицит медиатехнической конкретности. В следующей главе мы подробно рассмотрим три очерка Винокура о «лингвистической технологии», чтобы конкретизировать оснастку «революции языка».

* * *

Невозможно пройти мимо самой формалистской версии сенсibilизации (политического) языка, тем более что она непосредственно воздействует на литературную программу ЛЕФа. Так, первый выпуск в 1924 году целиком посвящается языку Ленина и собирает статьи, в которых формалистская теория применяется к корпусу ленинских выступлений. Шкловский говорит о Ленине-деканонизаторе, у которого термины появляются только как результат «разделительной» работы письма – почти дерридианского различания⁹⁵. Тынянов отмечает потенциал семантической подвижности слова/фразы в качестве залога значимости, охраняющей от «падения в быт», приводя в пример изменение названия партии от социал-демократов к большевикам⁹⁶. Якубинский подчеркивает прагматические аспекты, говоря о «ленинском речевом поведении», которое «крепко и наверняка достигало и достигло своей цели»⁹⁷. Наконец все члены ОПОЯЗа сходятся на сознательном отношении Ленина к языку, его стремлении избегать клише и постоянно обновлять значение через сдвиги. Формалисты делают из Ленина образец неустанной борьбы с автоматизацией языка, адепта *дискурсивной инфраструктуры авангарда* и практически одного из футуристов; в наполнении слов смыслом и сопротивлении бюрократизации социальной коммуникации они видят новую публичную обязанность советского гражданина.

Троцкий, современник этой же *дискурсивной инфраструктуры*, при по меньшей мере скептическом отношении к формализму и футуризму в вопросах языкового воздействия во многом совпадает с ними, называя чуть ли не главным препятствием социалистического строительства – бюрократизм, зарождающийся в языковых клише и «условности партийного языка»:

Десятки и сотни отвлеченных статей, повторяющих «казенные» общие места о буржуазности буржуазии или о тупости мелкобуржуазного семейного строя, *не задевают сознания читателя*, совершенно как привычный и надоевший осенний дождь⁹⁸.

Слова, которые могут использоваться, «не задевая сознания читателя», указывают на уже знакомую нам проблематику и риски *дискурсивной инфраструктуры авангарда*. Очевидно, однако, что вся эта лингво-эпистемологическая полемика не только рассматривает существование языка в газетах, но и сама разворачивается в этой же медиаспецифической среде. Учитывая мнение самого Ленина о том, что «газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»⁹⁹, странно не учитывать эту

⁹⁵ Шкловский В. Ленин, как деканонизатор // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 53.

⁹⁶ Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемика // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 101–103.

⁹⁷ Якубинский Л. О снижении высокого стиля у Ленина // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 72.

⁹⁸ Троцкий Л. Газета и ее читатель // *Он же*. Вопросы быта: эпоха «культуричества» и ее задачи. М.: Красная новь, 1925. С. 27. Аналогичное сравнение коммуникации с осадками предложит Маяковский: «Я хочу быть понят родной страной, / а не буду понят – что ж?! / По родной стране / пройду стороной, / как проходит косой / дождь» (Маяковский В. Вариант стихотворения «Домой!» // *Он же*. Полное собрание сочинений в 13 т. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 7. С. 429), а впоследствии откажется от этой концовки, объяснив это – в журнальном ответе молодому поэту – чисто формалистскими соображениями: «Нюющее делать легко, оно шиплет сердце не выделкой слов, а связанными со стихом посторонними параллельными нюющими воспоминаниями. Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик: „Я хочу быть понят моей страной <...> как проходит косой дождь“. Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал» (Маяковский В. Письмо Равича и Равичу // Новый ЛЕФ. 1928. № 6. С. 14.).

⁹⁹ Ленин В. С чего начать? // Искра. Май 1901. № 4; цит. по: Ленин В. С чего начать? // *Он же*. Полное собрание сочинений: В 55 т. М.: Политиздат, 1967. Т. 5. С. 11.

материальную среду, очевидно организующую не только людей, но и язык определенным образом.

Так, на страницах «Правды» Троцкий выступает в споре Сосновского – Бухарина скорее за постепенное «просвещение» рабочих, чем за «пролетаризацию» газет. Однако примечательным представляется не то, что нарком выбирает эту сторону, а то, какие именно инструментальные метафоры он использует в описании собственно газеты: она мыслится им уже не в качестве звукоснимающего аппарата (*фонографа*), фиксирующего голос народа / сырую действительность, а в качестве активного вторгающегося «инструмента политического и культурного образования масс»: «Газета, конечно, не как *орган*, рассказывающий о том о сем, а газета, как рабочий *инструмент* просвещения, как орудие знания»¹⁰⁰.

Газета в пределах одного предложения трансформируется из относительно бесполезного органа в активно эксплуатируемый инструмент, орудие труда, которое, согласно философии техники Маркса, в пределе может быть развернуто в оружие борьбы. Примечательна в этой конструкции и функция отдельного рабкора: «Рабкор – *орган общественной совести*, который следит, который обличает, который требует, который настаивает»¹⁰¹.

Метафора органа, как мы показывали, весьма глубоко укоренена в немецкой философии (языка)¹⁰², откуда через Маркса она придет к большевикам, а через Гумбольдта и Марти – и в советскую «революцию языка». Она же позволит марксистской философии языка обнаружить впоследствии инструментально-прагматическое измерение высказывания¹⁰³, а медиачувствительной мысли – нащупать технологический субстрат коммуникации. Если технологический материалист Маклюэн увидит в человеке половой орган мира машин, позволяющий появляться их новым формам¹⁰⁴, то диалектический материалист Троцкий говорит пока о гражданине как об «органе общественной совести», который не только снимает данные, но и выполняет активную саморегулирующую функцию, а также предотвращает бюрократизацию языка своей «критикой действием».

Как можно объяснить такое единодушие среди представителей различных идеологических лагерей – при внутренней расколотости самой этой общей позиции между необходимостью точной документации ситуации и ее перформативной трансформацией (в языке и социальном действии одновременно)? Всем участникам дискуссии очевидно, что необходимо и учитывать данные с мест, и удерживать контроль над хаосом этих данных; предпочтения постоянно колеблются. Акцент то и дело смещается с угнетенных, которые оказались способны говорить (Спивак)¹⁰⁵, к авангарду, который должен придавать всему этому какой-то умопостижимый вид, и обратно.

Проблема советской языковой революции на этом этапе уже не поддается описанию в терминах истории лингвистических идей. В лучшем случае она еще соответствует коллизии трансцендентальной философии, современной подъему эмпирической науки, которая стремилась

¹⁰⁰ Троцкий Л. Ленинизм и библиотечная работа. М.: Красная новь, 1924. С. 13.

¹⁰¹ Троцкий Л. Рабкор и его культурная роль (Речь на конференции Сокольнического райкома) // Правда. 14 августа 1924. № 183; цит. по: Троцкий Л. Вопросы культурной работы. М.: ГИЗ, 1924. С. 75.

¹⁰² См. посвященное этому исследованию: Weatherby L. Transplanting the Metaphysical Organ. German Romanticism between Leibniz and Marx. New York: Fordham University Press, 2016 (особенно главы Communist Organs, or Technology and Organology).

¹⁰³ О влиянии немецкой традиции на советскую философию языка см.: Brandist C. Voloshinov's Dilemma: On the Philosophical Roots of the Dialogic Theory of the Utterance // The Bakhtin Circle: In the Master's Absence / Ed. by C. Brandist, D. Shepherd, G. Tihanov. Manchester: Manchester University Press, 2004. P. 97–124.

¹⁰⁴ «Man becomes as it were, the sex organs of the machine world <...> enabling it to fecundate and to evolve ever new forms» (McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: MIT Press, 1994. P. 46).

¹⁰⁵ Ср. гендерно окрашенный вариант этого же сценария у Анны Ахматовой, который тем не менее нельзя назвать феминистским, учитывая сожаления обладательницы эксклюзивных прав на языковые компетенции: «Могла ли Биче словно Дант творить, / Или Лаура жар любви восславить? / Я научила женщин говорить... / Но, Боже, как их замолчать заставить!» (Ахматова А. Эпиграмма [1958] // Литературная газета. 29 октября 1960).

синтезировать хаос чувственных данных в понятии¹⁰⁶. Но принципиальное новшество состоит в том, что теперь эмпирическое и трансцендентальные функции будут распределяться между различными группами населения. Сбор материала делегируется рабкорам как органам самосознающего социального тела (соответственно, очерк должен быть «правдивым, как рефлекс»), а роль трансцендентальной инстанции закрепляется за редакцией, авангардом или партией, которая наделяется всем многообразием когнитивных функций, поскольку, по известному выражению, будет служить «умом, честью и совестью нашей эпохи».

Поэтому и разрешить «конфликт устройств» исключительно в терминах лингвистической эпистемологии невозможно: требуется анализ конкретных медиарасширений трансцендентального аппарата общественного самосознания, а именно – новых медиатехник, газеты и радио.

¹⁰⁶ Лингвистическую интерпретацию кантианской революции дал Гумбольдт, сделавший акцент не просто на абстрактном синтезе понятий из чувственных интуиций, но на слове, высказывании и языковом творчестве в целом как на материализованной форме синтезируемых понятий. См. подробнее: *Esterhammer A. The Romantic Performative*. P. 106–143.

Глава 2. «Язык нашей газеты». Лингвистический октябрь и механизация грамматики

Наиболее примечательна в отношении к медиуму языка и газеты оказывается эволюция взглядов Винокура. В своей статье «Язык нашей газеты» он противопоставляет поэтический язык «газетной прозе»:

И недаром принято называть «газетной прозой» неудачное поэтическое произведение. В газетном языке как раз не хватает того, что составляет основу поэзии, позволяющей ощутить каждое слово заново, словно в первый раз его слышишь¹⁰⁷.

Это несложно принять за формалистскую позицию, учитывая, что статья опубликована в «ЛЕФе». В основе лежит та же оппозиция (языка) газеты и поэзии, что и у Малларме, который подчеркивал: поэзия *по определению* противопоставлена «четвертой полосе газет»¹⁰⁸. Винокур тоже подразумевает их конститутивную оппозицию, однако, в отличие от своего коллеги по Московскому лингвистическому кружку Романа Якобсона, он с самого начала говорит о поэтическом языке как принципиально не отделенном от повседневного, скорее о фразеологической вариации – иногда удачной, а иногда нет, но демонстрирующей общие законы, коль скоро «газетной прозой» можно назвать *неудачное* поэтическое произведение¹⁰⁹.

Грамматика

Чтобы прояснить это расхождение, стоит вернуться к истории журнала «ЛЕФ» и, соответственно, той «ереси», какой могло казаться сближение формалистских кругов¹¹⁰ с производственным движением, в ходе которого дискурс поэтического мастерства и писательского ремесла через рефлексию социальной функции литературы постепенно приходит к индустриальной работе со смыслами¹¹¹. Через десять лет после доклада Шкловского о футуристах в *истории языка* Винокур с аналогичного ракурса рассматривает строго лингвистическую задачу

¹⁰⁷ Винокур Г. Язык нашей газеты // ЛЕФ. 1924. № 6. С. 125.

¹⁰⁸ «Поэзия в языке повсюду, где есть ритм. Повсюду, за исключением афиш и четвертой полосы газет». Перевод наш, в оригинале: «Le vers est partout dans la langue ou il y a rythme, partout, excepté dans les affiches et à la quatrième page des journaux» (Mallarmé S. Sur l'Évolution littéraire. P. 867). См. наш подробный анализ высказываний литераторов о газетах, их реального положения в контексте дискурсивной инфраструктуры газет, а также проводимое на этом основании различие между модернизмом и авангардом в: Арсеньев П. От «духовного инструмента» к «некому двигающемуся зрительному аппарату»: Малларме, Стайн, Браун в дискурсивной инфраструктуре модернизма // Versus. № 6. 2023 (готовится к публикации).

¹⁰⁹ Определение поэтического языка в модернизме находится в конститутивном противопоставлении «языку газет», однако варьируется по степени эссенциализма. Позиция Винокура, как и Малларме, оказывается более диалектична по сравнению с позицией Рене Гиля, которому в данном случае соответствует, скорее, Якобсон. См. подробнее об истоках раскола между поэтическим и повседневным языком во французском символизме в эссе «Поэтическая экономия слова как такового» в ЛП.

¹¹⁰ Здесь имеются в виду участники ОПОЯЗа и МЛК – Шкловский, Брик, Винокур и многие другие. Так же принято очерчивать этот круг и во французской рецепции этой традиции: Depretto C., Pier J., Roussin P. Présentation // Communications. 2018. № 2 («Le formalisme russe cent ans après»). P. 7–10.

¹¹¹ В первом выпуске журнала Осип Брик в статье под названием «Т. н. „формальный метод“» так сформулирует его задачи внутри ЛЕФа: «Поэт – мастер своего дела. И только. Но чтобы быть хорошим мастером, надо знать потребности тех, на кого работаешь, надо жить с ними одной жизнью. Иначе работа не пойдет, не пригодится... Необходимо массовое изучение приемов поэтического *ремесла*...», и ниже уже предлагает фразеологический синтез формалистов и производственников: «ОПОЯЗ изучает законы поэтического *производства*» (Брик О. Т. н. «формальный метод» // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 213, курсив наш). В 3-м выпуске ЛЕФа Винокур добавляет: «Поэтическое творчество – есть работа над словом, уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей собственной конструкцией. Значит ли это, однако, что поэтическая работа не есть работа над смыслом? Ни в коем случае, ибо и смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции» (Винокур Г. Поэтика. Лингвистика. Социология. (Методологическая справка) // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 109).

«строителя языка», сравнивая ее с пушкинской, и формулирует ее так: «устранить противоречие между языком современного ему быта и магическими чревовещаниями символистов»¹¹², то есть снять разделение на повседневный язык и образцово-показательный поэтический. Однако задача эта оказывается намного более радикальной, чем просто смена поэтических школ (или тем более мирная передача власти, как иногда представляют отношения между символизмом и футуризмом), поскольку в пределе предполагает постановку под вопрос не только предыдущей школы, но и автономии института литературы, что и является задачей авангарда¹¹³. На это и указывает Винокур, последовательно дистанцируясь от Якобсона:

За последние годы немало было поломано копий, чтобы доказать, что система языка поэтического в корне отлична от системы языка практического. Вопрос этот я считаю в большой мере праздным <...> нет никакой нужды предписывать этому последнему трактованию слова, как самоценного, лишенного связи с окружающей обстановкой, материала <... что> тщетно пытаются замаскировать сторонники «автономности» поэтического слова. (Ср. предлагаемое Р. Якобсоном определение поэзии как «высказывания с установкой на выражение».)¹¹⁴

Уже в первом из „очерков по лингвистической технологии“, который считается еще достаточно формалистским, Винокур видит футуристические эксперименты не как новую форму чревовещания, а скорее как диалектическое *снятие* разрыва между «безъязыкой улицей» и такой наивысшей формой культуры языка, как поэзия или даже как «культурное *преодоление* языковой стихии» (205)¹¹⁵. По версии Винокура, улица не столько безъязыка, сколько косноязычна, «угнетенные могут говорить», но их пользование языком несознательно и неорганизовано, в речи они повинуются «слепому инстинкту»¹¹⁶, что требует более сознательного участия поэтов и лингвистов – однако без того, чтобы разверзлся сакраментальный разрыв между двумя языками – поэзии и быта: «... в нашей воле – не только учиться языку, но и *делать* язык, не только организовывать элементы языка, но и *изобретать* новые связи между этими элементами» (207). Очевидно, что функции, выделенные самим Винокуром курсивом, делегируются героям его статьи:

Футуристы первые сознательно приступили к языковому изобретению, показали путь лингвистической инженерии, поставили проблему «безъязыкой улицы», и притом – как проблему поэтическую и социальную одновременно. Ошибочно, однако, было бы подразумевать под этой инженерией в первую

¹¹² «<...> если Пушкин устраняет противоречие между пышностью державинского стиля и языком московской прозы, на долю <футуризма> выпала аналогичная миссия: устранить противоречие между языком современного ему быта и магическими чревовещаниями символистов» (Винокур Г. Футуристы – строители языка // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 206). Данная глава посвящена первому из «Очерков о лингвистической технологии», в дальнейшем страницы приводятся в тексте.

¹¹³ Согласно теории авангарда Питера Бюргера. См.: Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C Press, 2014. Несмотря на отчетливо воинствующее название, действия авангардистов часто описываются именно как мирное обновление литературного языка, обогащение его разговорным или повседневным, но в основании всякого авангардного предприятия несомненно лежит более радикальное *противоречие*, а не только *разнообразие*.

¹¹⁴ Винокур Г. Футуристы – строители языка. С. 205. В том же выпуске журнала и сами футуристы высказываются вполне однозначно: «Мы не хотим знать различия между поэзией, прозой и практическим языком» (Маяковский В., Брик О. Наша словесная работа. С. 40).

¹¹⁵ Эта диалектика уходит, как полагается, от каузальной логики: «Футуризм не ограничился ролью регистратора „произношения“: куя новый язык для поэзии, он желал оказать влияние и на тот образец, коему следовал. В сущности говоря, и образца-то у него, в пушкинском смысле, не было» (206). Существенно, что «футуристы не руководились готовым образцом, они преодолевали тот массовый, разговорный язык, откуда черпали материал» (207), повторяя производственную петлю, уже испытанную Пушкиным, или даже расширяя ее.

¹¹⁶ «Улица – косноязычна, она не владеет речью, не знает языка, на котором говорит, следуя лишь слепому инстинкту» (206). Ср. психофизиологию этой речи с «очерком правдивым, как рефлекс».

очередь «заумный язык». Такая тенденция есть как у критиков футуризма, так и у представителей этого последнего, но она не верна (208).

В силу уже заявленного индустриального воображаемого¹¹⁷ «делание языка» происходит не на лексическом уровне выделки отдельных новых, зачастую диковинных изделий, но на уровне грамматики – в изобретении новых связей между уже существующими элементами¹¹⁸. В качестве наиболее радикального типа таких изобретений приводятся примеры из Хлебникова, которые, впрочем, называются еще слишком лабораторными (а Арватов мог бы даже назвать их *мануфактурными*, неадекватными индустриальной современности)¹¹⁹, далее – более прикладные, из Маяковского. Важно, однако, что вслед за отказом от теории «поэтического языка» лингвист, печатающийся с этой статьей в «ЛЕФе», не признает за титульным футуристическим изобретением – заумью – инженерного характера. Выплескивая с устоявшимися значениями коммуникативную функцию, заумь, по Винокуру, сводится не к чистой поэзии, а к «чистой психологии» и продленному «воспринимательному процессу». «Чистая психология, обнаженная индивидуализация, ничего общего с *системой языка как социальным фактом* – не имеющая» (211).

В такой оценке Винокур явно противопоставляет французский социологический и семиотический позитивизм немецкой психологической науке (рассматривая заумь как производную от последней)¹²⁰. С точки зрения идеолога «революции языка», именно здесь проходит граница между словотворчеством и «массовым языковым строительством», между несущим только лабораторный характер (психофизиологическим) экспериментом и ставкой на массовое внедрение (в языковую и социальную систему), между творческими опытами, противопоставляющими себя «падению на быт», и «принципами языковой работы поэтов (которые) могут быть осмыслены в быту»¹²¹.

Именно с этим – уже *словостроительным*, а не *словотворческим* – изводом футуристической программы, начиная со следующего очерка «О революционной фразеологии»¹²², Винокур перебирается на следующий ярус языковой системы: с *делания языка и языковой инженерии*

¹¹⁷ «Изобретение предполагает высокую *технику*, широчайшее усвоение *элементов и конструкции* языка, массовое проникновение в языковую систему, свободное маневрирование составляющими языковой *механизм рычагами и пружинами*» (207). См. выше о возможном влиянии фразеологии «механизмов языка» у Соссюра.

¹¹⁸ «Настоящее творчество языка – это не неологизмы, а особое употребление суффиксов; не необычное заглавие, а своеобразный порядок слов, <...> появление не новых языковых элементов, а новых языковых отношений» (208).

¹¹⁹ Арватов также публикует в этом выпуске статью о заумной поэзии, используя для ее описания термин, кажущийся нам более точным, чем *словотворчество*. См.: Арватов Б. Речетворчество. (По поводу «заумной поэзии») // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 79–91. Подробный анализ этой статьи, немало пересекающейся с позицией Третьякова, анализируемой там же, см. ниже, в главе «Лирика и семиотика: слово как таковое на производстве».

¹²⁰ Тем самым Винокур склоняется к интерпретации зауми как реакции на кризис позитивизма. См. подробнее о связи идей Дюркгейма и Соссюра в эссе «Социальные факты и язык как таковой» в ЛП. Как мы показываем, эксперименты Крученых действительно имеют отношение к психофизиологии речи, исследованиями которой занималась и французская экспериментальная фонетика.

¹²¹ Винокур настолько ожесточается, что он посвящает последние страницы статьи зауми и находит ей место в своей системе координат: «Заумный язык» как язык, лишенный смысла, – не имеет коммуникативной функции, присущей языку вообще. За ним, таким образом, остается роль чисто номинативная, и таковую он с успехом может выполнять в области социальной номенклатуры. Поэтому – вполне возможны папиросы «Еуы», что будет несколько не хуже, а может быть и лучше – папирос «Капэ»... почему – если есть часы «Омега» – не может быть часовой фабрики «Возоби»?» (212). Другими словами, самоценную поэзию, конститутивно противопоставленную всякому утилитарному языку, Винокур на основании анализа ее лингвистических свойств (отказа от коммуникативной функции) и в применении к быту наделяет номинативной функцией – в области языкового рекламного дизайна. То, что претендовало на максимальное удаление от «афиш и четвертой полосы газет», оказалось идеально подходящим для нужд рекламы папирос и часов. Ср. определение «номинативных триггеров» у Малларме, который в известном смысле были первым практиком зауми (см. *ptyx* в стихотворении *Sonnet allégorique de lui-même*).

¹²² Винокур Г. О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 104–118, в дальнейшем страницы приводятся в тексте.

на уровень социалистической дискурсивности или, как он сам это называет, «судеб революции в языке»¹²³:

Вне этой фразеологии нельзя было мыслить революционно или о революции. Сдвиг фразеологический – соответствовал сдвигу политическому. Здесь были найдены нужные слова – «простые как мычание», – переход от восприятия которых к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел – и действуй! (110)

С точки зрения Винокура, революция тоже «состоит не из идей, а из слов», которые уже не только выдают в себе следы сознательного футуристического строительства, но и обнаруживают свое прагматическое или даже бихевиористское измерение. Однако, при всем подобном материализме означающего, его медианосители не очевидны: «нужные слова» найдены, но рискуют забыться, поэтому от их восприятия необходимо сразу переходить к действию. Это подразумевает некоторую локальную коммуникативную ситуацию – как будто устную (в которой нет места для осложнения «нужных слов» побочными ассоциациями), хотя и уточняется, что действие следует за прочтением. Скорее всего, медианосителем такой коммуникации является *афиша*¹²⁴.

Собственно, уже в первом очерке Винокур уточняет, что «преодоление инерции языкового мышления» возможно «при сознательной установке на организующие элементы языка», и «особенно ясна эта установка в письме <...> всякий литературный документ, в самом широком смысле этого термина, – будь то письмо, афиша, газета» (204). Не только поэзия преодолевает инерцию языкового мышления и организует языковой материал, но и та самая газетная проза или революционные призывы на афише. Проблема последних в том, что они печатаются чаще поэтических книг (и большими тиражами), а поэтому быстрее выявляют «судьбы революции в языке» – превращаться в *клише*¹²⁵.

Фразеология

Выясняя в статье о революционной фразеологии отношения не только с «лингвистическим Октябрем», но и с основателем науки о языке, Винокур не сомневается в «возможности сознательного социального воздействия на язык, а, следовательно, и в возможности языковой политики <...> До сих пор, например, эта возможность официальной наукой отрицается» (105). Статусом «официальной науки» и силой закона здесь наделяется Соссюр, ведь возможность языковой политики отрицалась прежде всего им, причем в силу самой произвольности знака¹²⁶. Винокур практически дословно повторяет формулу Соссюра, по аналогии с которой «языковая политика должна ставить себе цели строго-лингвистические, хотя бы осуществление этих целей и могло быть затем использовано в социально-утилитарном

¹²³ «Проблема фразеологии есть проблема стилистическая по преимуществу <...> не языковая вообще, а только лексикологическая, словарная <...> Грамматике нечего делать с фразеологией» (108). В конечном счете Винокур оставляет грамматику «строителям языка», потому что «на словаре легче всего осуществлять социальное воздействие на язык. Куда легче, к примеру, заменить одно слово другим, чем дать новую форму падежу» (Там же).

¹²⁴ Отметим, что сам автор «простых как мычание» слов в начале 1920-х активно работает над афишами РОСТА. См. подробнее: *Иньшакова Е.* Коллекция «Окон РОСТА и ГПП» в собрании Государственного музея В. В. Маяковского // Творчество В. В. Маяковского. Вып. 3: Проблемы текстологии и биографии. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 379–386.

¹²⁵ По тому, что выражения у Винокура «окаменевают», нетрудно вспомнить, что подобное происходит и в поэзии – только на больших исторических отрезках, что и делает рано или поздно «Академию и Пушкина непонятнее иероглифов» (*Бурлюк Д., Хлебников В., Крученых А., Маяковский В.* Пощечина общественному вкусу) – и поэтому систематически требует масштабных операций по «воскрешению слова». См. подробнее о запутанных отношениях поэзии с камнем в эссе «Делание вещи: от воскрешения к восстанию» в ЛП.

¹²⁶ Ср.: «<...> l'arbitraire meme du signe met la langue a l'abri de toute tentative visant a la modifier» (*Saussure F.* Cours de linguistique generale. P. 106).

смысле» (106). Вместе с тем он не скрывает и политической мотивированности своих предложений, которые сводятся ни много ни мало к «революции в языке/языка»:

Утверждая это, я отнюдь не защищаю либеральную точку зрения демократического культуртрегерства. С моей точки зрения, возможна и такая языковая политика, которая ориентируется на *революцию в языке*. Но важно одно: революция эта должна мыслиться именно как *революция языка*, а не чего-либо иного. Иными словами, объектом языковой политики может быть только язык (106).

В этой странной точке, где Маркс встречается с Соссюром, узнаваема общелефовская убежденность в необходимости планомерной культурной революции после уже состоявшейся политической¹²⁷. Пока поэты и художники ЛЕФа создают новые, революционные формы быта, поведения и, следовательно, чувствования, Винокур задается целью «перманентной революции языка», или во всяком случае изобретением такой формы языковой политики, которая позволяла бы поддерживать фразеологию в революционном состоянии. Революция языка – в силу самой этимологии (воз)вращения¹²⁸ – это то, что все время рискует *обернуться* своей противоположностью или возвращением того же самого: «...после того, как революция стала социальным фактом, все эти лозунги и термины, отчасти уже потрепанные, приобрели новую, свежую силу». И тут же: «Но вот какой вопрос приходится задать: действительно ли лозунги и формулы эти „вбиваются в головы масс“ – не скользят ли они лишь по слуху масс?» (109–110).

Если в случае грамматической инженерии поэты под чутким руководством лингвистов еще могли рассчитывать «сознательно приступить к языковому изобретению», то на уровне фразеологии сколь угодно сознательное использование неизбежно сталкивается с инерцией, как любовная лодка – с бытом. В ходе перемещения между различными ярусами языковой системы Винокур отмечает и диахронические эффекты «старения» фразеологии¹²⁹. Когда улица уже наделена языком футуристов, а приемы ленинской речи исследуются формалистами, вопросы *строительства быта*, в том числе *языкового*, продолжают *революцию*, в том числе *языка*, и оказываются на порядок сложнее.

Если, подобно науке о языке, «языковая политика должна ставить себе цели строго-лингвистические», то строго лингвистических *средств* («грамматической инженерии») здесь уже недостаточно¹³⁰. Винокур пробует отойти за подкреплением к проверенным формалистским методам: «...когда форма слова перестает ощущаться, как таковая, не бьет по восприятию, то перестает ощущаться и смысл. Это особенно ясно на примере поэзии... И вовсе не парадоксом является утверждение, что поэзия Пушкина массе в настоящее время совершенно непонятна»¹³¹. Но, бросив в очередной раз Пушкина с парохода и напомнив всем, что форма пере-

¹²⁷ Важным контекстом всякого культурного строительства описываемой эпохи является соответствующая программа, объявленная Троцким, и его же книга «Вопросы быта» (1923), где среди прочего затрагиваются вопросы языковой культуры и печати (см. подробнее главу «Роль печати в культурном строительстве»).

¹²⁸ Наряду с фразеологией стоит удерживать в поле зрения этимологию *революции*, отсылающую к вращению астрономических тел, которое подразумевает и возвращение их в прежнее положение. Первыми обнаружили склонность к коперниканской смене перспективы предшественники ЛЕФа – футуристы: «Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли вокруг солнца отличается от бытового вращение солнца кругом земли» (Хлебников В. Наша основа. Лирень, 1920. С. 24–25).

¹²⁹ Винокур и сам не раз говорит о необходимости «омолодить нашу фразеологию» (115). Искомый им подход можно было бы назвать «языковой политикой вечной молодости» и связать с экспериментами Богданова, повлиявшего на программу ЛЕФа, но мы оставим это до более революционной ситуации в гуманитарных науках.

¹³⁰ См. обзор литературных способов иметь и не иметь дело с клише в: Компаньон А. Теория общего места / Пер. с франц. П. Арсеньева // Транслит. 2012. № 12. С. 6–12.

¹³¹ Винокур Г. О революционной фразеологии. С. 111. Далее в статье он не раз возвращается к этому ходу и конкретно формалистской фразеологии: «...поскольку мы в нашем социально политическом быту пользуемся ничего не значущими – ибо форма их более не ощутима – лозунгами и выражениями, то бессмысленным, ничего не значущим, становится и наше мышление» (Там же. С. 113); ср. «Мы перестали быть художниками в повседневной жизни» (Шкловский В. Воскрешение

стает ощущаться, Винокур обнаруживает, что... говорит о поэзии, то есть о деле «строителей языка», хотя речь уже давно перешла от лабораторных экспериментов над ним к эксплуатации языка в повседневном быту, где инерция восприятия не только неизбежна, но и закономерна¹³².

Здесь снова самое время обратить внимание на материальный характер всякой культуры. Если «грамматическое творчество – творчество не материальное»¹³³, то вопрос износа языковых выражений и техники внимания всегда существует в какой-то конкретной материальности – это всегда концерт для конкретных инструментов и органов восприятия:

Без преувеличения можно сказать, что для уха, слышавшего словесные канонады октября – фразеология эта не более, чем набор обесмысленных звуков. Один коммунист, искренне преданный делу рабочего класса, прекрасный знаток профессионального движения, говорил мне как-то, что когда он где-нибудь слышит или читает формулу: «наступление капитала», то ему хочется бежать за три версты, он уже не может прочесть статьи, написанной под этим заголовком, не может дослушать речи, посвященной этой теме. В чем же дело? (111).

А дело в том, что в игру вступают не только нематериальное грамматическое творчество, но и конкретные уши и речи. Или статьи и глаза, видевшие такое не раз. Чуть выше, когда еще описывается становление революционной фразеологии социальным фактом, Винокур так же уточняет материальные формы, в которых это происходило: «...фразеология подпольных кружков <...> зазвучала <...> запросилась на бумагу <...> она возмущала одних и вдохновляла других»¹³⁴. Другими словами, *социальный факт* в отличие от *языковых оппозиций* всегда обнаруживает материальную обшивку и потому является одновременно *техническим фактом*.

Газета как материальная инфраструктура (равно как митинг в качестве социального жанра) по определению подвержены автоматизации в силу ставки на массовое распространение. Легко выступать за «слово как таковое» в изданиях тиражом пять экземпляров и противопоставлять уникальные речевые изделия массовой информации. Уникальность и массовость здесь характеризует не столько слова, сколько материальность носителей, по отношению к которой их качества оказываются скорее производными¹³⁵. Подобно ретардации сюжета или иного затруднения формы можно искусственно замедлить износ слов – пользоваться ими редко и в узком кругу. Так поступал дореволюционный футуризм. Но после революции – возможно неожиданно для себя – футуристы оказываются в принципиально иной медиатехнической ситуации, точно так же, как сами большевики – в иной политической реальности (когда приходится уже не разрушать старый, но строить свой, новый мир). При смене медиума начинает иначе вести себя и означающее. В известном смысле автоматизации, помимо фразеологии – революционной или не очень, – оказались подвержены и артистические стратегии. Именно так

слова // Он же. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 36–41); «пользуясь окаменелой фразеологией, мы ведь, в сущности, не понимаем того, что говорим» (С. 114) (ср. «слова окаменевают» (там же)). Примечательно, однако, во всех этих случаях то, что воскрешение слова теперь работает не просто на приведение себя субъектом в чувство, но находится на службе революции (языка).

¹³² Часть представителей авангарда в это время все еще рассчитывает на продление самоценного «восприимчивого процесса» до бесконечности, тогда как другое крыло, более чувствительное к производственному искусству, осознает «задачи момента», которые теперь касаются не только изобретений, но и необходимости их внедрения, сервисного обслуживания и поддержания работоспособности. Именно поэтому вопросы языковых изобретений уже «сменились или осложнились» вопросами *культуры языка*, подобно тому, как через несколько лет вопрос: «Как писать?» сменится или осложнится вопросом: «Как быть писателем?». См.: Эйхенбаум Б. Литературный быт // Он же. О литературе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 428–436.

¹³³ Винокур Г. Футуристы – строители языка. С. 208.

¹³⁴ Винокур Г. О революционной фразеологии. С. 109–110. Каким образом произведения становятся литературными фактами, а затем утрачивают это качество, интересуется и Тынянов в: Тынянов Ю. Литературный факт // Он же. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 255–270.

¹³⁵ Именно поэтому Винокур допускает вполне массовое использование зауми в рекламе товаров повседневного спроса – и даже рекомендует его, а значит, и заумный язык может быть «автоматизирован» при правильно подобранном носителе.

произошло с чистой заумью: продолжать производство лабораторных образцов более не имело смысла, теперь необходимо было ставить вопрос о возможности их внедрения.

Медиатехника

Между двумя статьями в двух первых выпусках «ЛЕФа» Винокур переходит от вопросов делания и изобретения языка к вопросам его «обслуживания», от грамматической инженерии – к лингвопрагматике и дискурсивной лингвистике¹³⁶, но, что еще важнее, он все чаще указывает на конкретную материально-техническую сторону описываемых проблем языковой политики, а почти все примеры «революционной фразеологии» приводит из *газет*. Наконец, в своей третьей статье, которая уже называется «Язык нашей газеты», Винокур интересуется не футуристическим словотворчеством как таковым и не работой революционной фразеологии вообще, но стремится специфицировать именно газетную речь:

Рассчет на максимальное потребление, а, следовательно, и исключительный быстрый темп самого производства, позволяющий строить справедливые аналогии с производством промышленным, неизбежно *механизирует, автоматизирует* газетный язык¹³⁷.

Все больше отказываясь от удобного противопоставления поэзии газете, Винокур начинает – как и в случае с изучением «поэтического языка» – с замечаний о «достаточно бесплодной дискуссии о литературных качествах наших газет», которым противопоставляет изучение «значения газеты, как специального факта литературного порядка». Возможно, это тот случай, когда просто быть знакомым с содержанием текста филологу недостаточно и необходимо учитывать его материальный контекст, то есть стать материальным историком. В последнем выпуске «ЛЕФа» за 1924 год этот очерк Винокура идет сразу после программного текста Тынянова «О литературном факте», что очевидно не могло не сказываться на ее прочтении – если не на самом ее написании: Винокур как близкий к редакции автор мог быть осведомлен о композиции выпуска, если начинал первую главку своей работы со следующих слов:

Значение газеты, как специального факта литературного порядка у нас еще совершенно не выяснено. Если каждому понятна политическая роль газеты, если легко догадаться о социальном смысле газеты <...> вопрос о собственно-литературной, словесной природе газеты никем и никак еще не поставлен (117).

Тем более не поставлен вопрос о характере газеты как *технического факта*. Чувствуется, что Винокур хочет заземлить «бесплодные дискуссии о литературных качествах наших газет» на какую-то материальность, но не нащупывает никакой другой, кроме материальности языка. Как в случае разговора о строителях языка и революционной фразеологии ему пришлось наткнуться на уже опробованные ходы ОПОЯЗа, так и здесь он фактически повторяет слова Тынянова о газете как «литературном факте», как бы присоединяясь к предложенной в предшествующей статье «ЛЕФа» теоретической перспективе своим прикладным исследованием на материале языка газет. И все же налицо немалый сдвиг, поскольку с периферией культуры языка, которая всегда служила лишь фоном для выделения драгоценных фигур поэтической речи, Винокур намеревается проделать *то же самое* – определить особенности «газетного

¹³⁶ Именно этим методологическим сдвигом можно объяснить то, что с конца 1920-х годов Винокур говорит уже не столько о культуре языка, сколько о *культуре речи*.

¹³⁷ Винокур Г. Язык нашей газеты. С. 124. В оглавлении статья называется «Газетный язык», в дальнейшем страницы приводятся в тексте.

языка как специфической речи». А отсюда уже недалеко и до выяснения материальных условий, определяющих эту специфическую речь.

Сперва он снова сосредотачивается на чисто лингвистических свойствах, но вдруг заговаривает о «материальной насыщенности <...> писаной речи», а вслед за этим подходит и к *спецификации газетной речи*: «С самого начала журналисту, составляющему газетную телеграмму, приходится мыслить синтаксически» (122). Как крестьянин, «легко и свободно говорящий»¹³⁸, при столкновении с новой медиатехнической инфраструктурой обнаруживал «лингвистическую беспомощность», в той или иной степени присущую любому пишущему («все мы, в известном смысле, беспомощны перед чистым листом бумаги», 118)¹³⁹, так теперь журналист испытывает на себе принуждение материальности газетных телеграмм. Это принуждение можно было бы все еще считать жанровым или грамматическим, но жанровая и грамматическая системы исторически изменчивы, а возмутительное требование «мыслить синтаксически» в данном случае исходит не просто от «писаной речи», но от такого материального медиума, который еще не был известен Пушкину (хотя литературным русским языком тот вполне мог пользоваться или даже быть его «строителем»). Именно техническое устройство телеграфа требует «вместить в одну грамматическую цепь целую кучу фактов» (123)

Чуть выше Винокур формулирует суть проблемы так: «По своему заданию – телеграмма должна вместить возможно большее количество фактов в пределы возможно более сжатой, компактной, грамматической схемы» (122), что совершенно верно, но дьявол скрывается в слове *задание*. На первый взгляд, имеется в виду жанровое задание почти *ad hoc* – вызов или приглашение самой *системы языка* или *литературной эволюции*, как мог бы выразиться сосед по страницам «ЛЕФа» Тынянов¹⁴⁰. Однако в случае телеграфно-газетной речи очевидно, что это именно *техническое задание* или даже новые *технические требования*, предъявляемые к литературе медиумом. И «газетная проза» их испытывает первой (за что и удостоивается презрения адептов прежней дискурсивной инфраструктуры). Винокур вплотную подходит к вопросам *материальности коммуникации*, но из-за мощнейшего формалистского влияния в теории постоянно колеблется с определением причин и следствий:

<...> специфическая грамматическая установка телеграфно-газетной речи обусловлена уже самими внутренними качествами этой речи <...> Но, с другой стороны, эта же грамматическая напряженность объясняется и социально-культурными условиями, в которые поставлена газетная литература (123).

В колебании между «обусловлена» и «объясняется» дает о себе знать раскол между *пониманием* и *объяснением*, как их сформулировал Дильтей¹⁴¹. Для самих формалистов с их тягой к научности науки о литературности литературы выбор между этими методологическими ориентирами был не так очевиден¹⁴². Наконец Винокуру приходится признать, что эта

¹³⁸ Полное описание крестьянина выглядит так: «...легко и свободно говорящий и рассказывающий, с того момента, как получает перо в руки да лист бумаги, обнаруживает вдруг лингвистическую беспомощность».

¹³⁹ Винокур указывает на ситуацию или сцену письма с соответствующими материальными аксессуарами, ранее зарезервированную за поэтическими муками творчества, и обнаруживает те же принуждения.

¹⁴⁰ Именно так он, в частности, объяснял появление оды: акустика дворцовых помещений повлияла на эволюцию литературы, которая при этом изобретательно воспользовалась этим принуждением. См. подробнее: Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр // *Он же*. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 227–252.

¹⁴¹ Дильтей отводил наукам о духе факты, подлежащие герменевтическому пониманию, тогда как наукам о природе – вещи, подлежащие объяснению. Словарь и проблематика у него пересекаются с формализмом, но факты и вещи живут еще малоинтересной дискурсивной жизнью: первые – только в сознании, вторые – только материально. Однако для истории *литературного позитивизма* важно, что при таком словоупотреблении футуристы и формалисты оказываются большими позитивистами, чем фактографы. См.: Дильтей В. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1: Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения общества и истории / Пер. с нем. под ред. В. Малахова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.

¹⁴² Так, Эйхенбаум считал, что «важно было противопоставить субъективно-эстетическим принципам, которыми вдохнов-

специфическая речь строится «по готовому уже шаблону, обусловлена выработанными уже в процессе газетного производства речевыми *штампами*, приспособленными уже, *отлитыми* словесными формулами, языковыми *клише*» (124, курсив наш). Однако если раньше тот факт, что в «речи нет почти ни одного слова, которое не было бы *штампом, клише, шаблоном*» (125, курсив наш), был бы для нее приговором¹⁴³, то теперь Винокур начинает быть внимательнее к самим этим низким, с точки зрения ОПОЯЗа, качествам, почти все из которых происходят от типографского оборудования. Теперь он не столько видит в телеграфно-газетной речи вынужденное и досадное следствие производственных условий, от которых должна подальше держаться поэзия, сколько стремится реабилитировать *механизацию языка* как метонимическое следствие индустриальной современности. Не выражение последней в «образах», которое скоро забудет в пролетарской литературе, но как бы ее моторное продолжение или индустриализацию самого языка.

Сохраняя противопоставление языка газеты языку поэзии по линии *автоматизации – острания, быстрого производства – продленного восприятия*, Винокур теперь видит в первых членах оппозиции не недостаток, но повод для спецификации «газетной литературы», чье стилистическое своеобразие заключается в «сумме фиксированных, *штампованных* речений с заранее известным уже, точно установленным, *механизованным* значением, смыслом» (125). Такая настойчивая спецификация этой речи через механизацию и столь явное ее противопоставление деавтоматизации позволяет говорить о ротационном прессе как двигателе теоретического воображения ЛЕФа по ту сторону кустарных процедур по «воскрешению слова».

Возможно, такой индустриальный поворот происходит потому, что у Винокура в этом споре вокруг газеты появляется еще один оппонент, чьи аргументы тоже признаются направленными по ложному адресу. Если футуристская чувствительность в большинстве случаев способна была эволюционировать от ремесленно затрудненной формы (*словотворчество*) к ее индустриальной рационализации (*словостроительство*), то сторонники опростительства видели «трагедию рабочего агитатора» в том, что он «теряет свой народный, простой, сочный, ясный, выразительный язык и вместо него получает штампованный язык наших газет <...> Простой человек в разговоре не употребляет придаточных предложений»¹⁴⁴. Именно об этом, однако, на протяжении трех статей толкует Винокур: разговорная речь существует в принципиально иных (мы добавляем – медиатехнических) условиях, нежели речь письменная, а точнее даже, печатная, зависящая от определенного технологического оборудования и неизбежно вбирающая в себя его принуждения. Но с ними «простой человек» не теряет свой «народный язык», а получает возможность для «обостренного внимания к речевому материалу» (118), которое раньше было зарезервировано только за поэтами.

Винокур видит индустриализацию языка как демократическую альтернативу разрыву между поэтическим и повседневным языком, книжной и народной культурой (который поддерживается в том числе некоторыми «сторонниками „автономности“ поэтического слова»). Но если прежде имел место спор между адептами письменной речи, существующей в разных печатных инфраструктурах – поэтической книги и крупнотиражной газеты, которые отлича-

лялись в своих теоретических работах символисты, пропаганду объективно-научного отношения к фактам. Отсюда – новый пафос научного позитивизма, характерный для формалистов». См.: Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // *Он же*. О литературе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 379.

¹⁴³ От Винокура не ускользает, что еще в предыдущей его статье автоматизированная речь – штампы, клише, шаблоны – грозила неминуемой опасностью для политической чувствительности слушающего и говорящего, но теперь его позиция выглядит более нюансированной: «внимание в области газетного словаря должно быть направлено лишь к тому, чтобы словарные штампы не изнашивались <...> Газетные штампы приходится, поэтому, подновлять <...> Важно, однако, помнить, что, когда изношенное словарное клише сдается в архив, оно заменяется хоть и новым, но все же клише» (*Винокур Г. Язык нашей газеты*. С. 125).

¹⁴⁴ Примечательно, что все это высказывает главный редактор *газеты*, пусть и называющейся «Беднота». Выступление Л. Сосновского на I съезде рабселькоров цит. по: *Винокур Г. Язык нашей газеты*. С. 127.

лись лишь скоростью превращения в штамп, то теперь им обоим противостоит «народный, простой, сочный, ясный, выразительный язык», который оказывается более грозным противником. Поэтому Винокуру приходится одновременно защищать от нападок и «язык наших газет», и литературный русский язык вообще – то есть все, что напечатано на *бумаге*, в результате чего и возникает странный гибрид поэта и журналиста¹⁴⁵. И поскольку именно этот общий материальный субстрат оказывается главной, хотя и не осознаваемой мишенью нападков, Винокур «немедленно строит аналогию» между ним и электрификацией.

Аргументы Винокура и раньше строились на технологических метафорах, но к акценту на «писанной речи» как способе обострения внимания добавляется теперь и аргумент о преимуществах именно индустриальной организации производства («...столь же легче „повернуть“ десяток заводов, изготавливающих тракторы, чем десятки миллионов пахарей», 128) а также о бессмысленности сопротивления этой централизованной индустриализации языка:

Как взглянули бы <...> на субъекта, к которому в голову пришла бы идея протестовать против... электрификации, на том простом и непреложном основании, что в глазах многомиллионного русского населения «электрический свет есть одно лишь жульничество» <...> и что на самом деле деревня наша не употребляет электричества¹⁴⁶.

Итак, от *того, что есть* (и что понятно крестьянину), акцент окончательно смещается к *тому, что должно быть*¹⁴⁷, только на место лингвистического волюнтаризма (будь то авангардное «воскрешение слова» или политический «рассвет речи») становится предельно автоматизированный язык газеты – индустриального конвейера по производству высказываний. При «справедливых аналогиях с производством промышленным» система языка оказывается неизбежно пронизывающей каждого и связывающей всех сетью вроде электрической. Противостоять этому медиуму и диктуемому им грамматическому протоколу – то же самое, что быть противником электричества, которым мы и так уже пользуемся, от которого уже зависим и которое со времен учредительной формулы Ленина идет в комплекте с советской властью.

Другими словами, в этой статье Соссюр гибридизируется уже с Лениным. Соссюр считал, что произвольность знака накладывает принуждение на говорящего, *всегда-уже* находящегося в языке, а не в мире вещей, и тем самым страхует язык от всякого (поэтического или политического) волюнтаризма по его трансформации. Однако у Винокура, в отличие от Соссюра, субъект находится не только в языке (из-за чего не мог бы рассчитывать его изменить), но еще и в активно развивающейся индустриальной революции, где силой закона обладает уже не только система языка, но и материальная культура промышленного производства, пронизанная «грамматикой» электричества.

* * *

Впрочем, Винокур оговаривается: хотя «штампованность, механичность есть неотъемлемое качество, при том качество <...> положительное, всякой газетной речи», которое в целом «оправдывается социально-культурными условиями, окружающими газетную речь», оно «потенциально скрывает в себе все же некую культурную опасность. Опасность эта заключается в том, что обусловленная механическим характером газетной речи, примитивность

¹⁴⁵ «Ату его, бей футуриста, он требует „сбросить с парохода современности“ Пушкина, Толстого и т. п. Но бей и журналиста, ибо он не хочет сбросить с парохода современной нашей деревни язык „дворянской интеллигенции“, т. е. тех же Пушкина, Толстого, Тургенева и прочих» (127).

¹⁴⁶ Винокур Г. Язык нашей газеты. С. 127.

¹⁴⁷ О требованиях Я. Шафира, автора брошюры «Газета и деревня», см. выше, в предыдущей главе.

лингвистического мышления создает благоприятную почву также для примитивности мышления логического» (129).

Отношения грамматики с логикой – богатая тема, которая могла бы нас увести к средневековой, а затем и античной философии языка, но в данном случае интереснее сама оговорка лингвиста, уже допустившего индустриализацию языка и механизацию грамматики, но все еще отстаивающего некие привилегии логического мышления (которое тем не менее ставится от грамматики в зависимость). Для иных сторонников «народного» или «поэтического» языка логика в принципе неотличима от механики мысли, а для определенной традиции в философии знака, от Лейбница до Тьюринга, это качество языка – как и штампованность газетной речи – является положительным. Что же гложет Винокура?

Расправившись с аргументами от народной простоты, он вновь возвращается к спецификации газетной речи, однако теперь приходится уточнять, что дело не только в цветах риторики, от которых заставляет отказываться строгая экономия газетного знака, то есть не в стилистическом или жанровом задании, но и в некоторой чисто технологической рациональности, которая «требуется конденсации, насыщенности, синтаксической изошренности» (130). Отдельные синтаксические штампы уже были реабилитированы¹⁴⁸, теперь же речь заходит о более интересных случаях *операторов* – одновременно пунктуационных и логических:

Очевидно, без запятых, без тире <...> – не обойдешься.

Сюда же относится двоекратное употребление скобок.

Если мы возьмем иностранную печать, <...> то мы найдем там те же штампы, <...> практикуется даже заключение в кавычки целых фраз и оборотов, ставших уже традиционными: штамповка здесь приобретает уже характер сознательно рассчитанного маневра (иногда кавычки заменяются курсивом) (130–132).

Здесь мы имеем дело не просто с *утратившими* «внутреннюю форму» штампами, которые имеют «чисто-грамматическое значение, не обладая *уже* никаким значением вещественным» (и оказываются снова явно или нет противопоставлены вещественности поэтического языка)¹⁴⁹. «Речения эти суть своего рода синтаксические сигналы» (130), которые *никогда* и не обладали вещественным значением, инструменты мышления, которые *в принципе* не имеют референтов. Что могло бы быть «вещественным значением» запятой, тире, скобок или курсива?¹⁵⁰ Газетная речь стремится по семиотическому характеру к азбуке Морзе – во всяком случае, сигналы упомянуты не случайно. Апология индустриальной медиатехники коммуникации приводит Винокура к пониманию глубоко „математической“ природы коммуникации, что не отменяет и ее электрификационно-телеграфной „физики“, отмеченной выше.

Винокур несколько ужасается открывающимся здесь перспективам механизации – уже не языка (с которой он уже смирился), а мышления. Впрочем, учитывая его защиту письменных и печатных форм речи, он не мог не догадываться, что в истории человеческой мысли изобретение новых инструментов и логических операторов всегда двигало научно-технический про-

¹⁴⁸ «Ничего нельзя возразить против наличия в газетной речи синтаксических штампов, умелая и максимально-целесообразная расстановка которых на протяжении речевого процесса есть подлинная лингвистическая задача газетного стилиста» (С. 131).

¹⁴⁹ Такие штампы «получаются в результате окаменения чисто словарных элементов речи...» (ср. с эволюцией отношения к камню у Шкловского); они «материально словарного значения, конечно, *уже* не имеют. За ними остается значение чисто грамматическое, формальное. Речения эти суть своего рода синтаксические *сигналы, зачины, приступы*» (131; курсив наш).

¹⁵⁰ На аналогичную проблему невозможности остенсивного определения предлогов, артиклей и других служебных частиц указывает Витгенштейн. См.: *Витгенштейн Л.* Голубая и коричневая книги. (Предварительные материалы к «Философским исследованиям»). Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2008.

гресс вперед, и должен был бы встать и на сторону отрыва операторов от всякой вещественности¹⁵¹.

Когда есть готовый каркас, и впрок запасена уже автоматизованная словарная сетка, то журналисту, которому лень думать или которому не о чем думать, ничего не стоит, при наличии некоторой техники, заполнить свою схему... (133).

Возможно, как будущий педагог он уже чувствует, что языковые каркасы (Карнап) и лексические (нейро)сети – словом, «наличие некоторой техники» – рискуют отбить всякое желание думать и помешают «душе трудиться». Но тогда получается аргумент вида «это убьет то» (*cecī tuera cela*), а техническая рациональность Винокура ограничивается индустриальной эпохой, в которой уже есть «неповинные и необходимые газетные штампы», в соответствии с которыми приведен язык и рискует быть приведено мышление, но еще нет и не должно быть файлов, поиска по документу и тому подобных операций¹⁵².

Впрочем, описание индустриализации языка через «электрификацию» слова отсылало уже не только к печатным органам, но и к другим «внешним расширениям человека»¹⁵³.

¹⁵¹ Так, Ф. Киттлер говорит об операторах, от латинской грамматики до математических знаков, которые постепенно «отрываются» от твердой почвы «вещественного значения» и «заставляют мыслить синтаксически». Он также упоминает кавычки, с изобретением которых в XIII веке появляется возможность цитировать. Изобретаемые далее типографские значки позволяют осуществлять математические операции независимо от устной речи, оперируя одними символами и сводя тем самым сложную аргументацию к механизму. Такие «черные ящики» продолжают плодиться на «белизне страницы» ровно до того момента, пока монополия письма не будет поколеблена изобретением телеграфа. См.: *Kittler F. On The Take-Off of Operators // Inscripting Science: Scientific Texts and the Materiality of Communication / Ed. by T. Lenoir. Stanford: Stanford University Press, 1998. P. 70–77.* Впрочем, как можно увидеть у Винокура, дальнейшая индустриализация и электрификация языка оказывается возможной именно в газетной речи.

¹⁵² Впрочем, то, как Винокур рассуждает о подвергающихся гонениям словах иностранного происхождения и советских аббревиатурах, «этих странных обрывках слов, а то и просто букв, претендующих на значение равноправных», показывает, что он придерживается некоторого последовательного радикализма «индустриализации языка» и фактически подходит к теории имен собственных как дейктических элементов, которые нельзя заменить никакими дескрипциями. При этом он продолжает критиковать «необоснованность мнения, будто советские сокращения лишены внутренней формы», не задаваясь вопросом, обосновано ли само мнение, что слова вообще должны обладать «внутренней формой», и не слишком ли поэтологическое оно имеет происхождение.

¹⁵³ Е. Петрушанская рассматривает технические сети электрификации и радиофикации как формы «гальванизации» социального тела советского общества. См.: *Петрушанская Е. Эхо радиопросвещения в 1920–30-е годы. Музыкальная гальванизация социального оптимизма // Советская власть и медиа. С. 113–119.*

Глава 3. Радиооратор, расширенный и дополненный

Если до революции и в ее первые годы разворачивается эвристика звукозаписывающей техники, а в литературе – эмулирующий ее интерес к голосу народа (наряду с сырым сонорным материалом), его фиксации и амплификации, то после – возникает и потребность в обратной трансляции директив из центра, информировании на местах.

Техническая история радио начинается с электрического телеграфа; оно не могло не стать важным медиумом (для) советской власти, которая учреждалась через захват телеграфа, а затем распространялась в комплекте с электрификацией. Впрочем, сначала радио являлось средством не слишком широкого вещания, а скорее точечной связи, и провода вели обычно к военным. Беспроводной телеграф первым делом появился на кораблях для передачи сигнала о бедствии, но чаще всего был привязан к конкретным (радио-) точкам на карте¹⁵⁴.

Одной из таких точек стала радиостанция Новой Голландии, с которой передается радио-телеграфическое сообщение о победе революции. Ленин обращается с ним ко всему миру, но техническая возможность получения сигнала имела на тот момент прежде всего у флота. С этого момента радио служит мощным, пусть и не всегда технически доступным или ясно считываемым ресурсом революционного воображения. Отдает дань материально-техническому утопизму нового медиа и сам Ленин, называя радио в письме Бонч-Бруевичу «газетой без бумаги и без расстояний»¹⁵⁵.

Если буржуазные правительства все еще *разливают* «потoki лжи» (для чего требуется скорее типографская краска), то Советская республика «бросает в пространство разоблачения, ответы рабочих и крестьян», преодолевая с помощью радио не только информационную блокаду, но и государственные границы так же легко, как их должна будет преодолеть мировая коммунистическая революция¹⁵⁶. Революционные медиа и являются сообщением как таковым.

Рудольф Штайнер еще называл граммофон орудием дьявола, советская же пропаганда, напротив, считает грамзаписи, транслируемые по радио, средством просвещения и борьбы, в том числе с религиозными предрассудками¹⁵⁷. Долгое время главную задачу радио видели в замене церковной проповеди при медиальной мимикрии, то есть «устном воздействии голоса» в прежней обстановке: громкоговорители часто устанавливались в помещении церквей, превращенных в клубы и избы-читальни¹⁵⁸. Возможно, именно поэтому к технической новинке, поставляющей авторитетный дискурс, у населения часто сохраняется магическое, почти сакральное отношение.

¹⁵⁴ Термин «радио» ввел в обращение писатель-фантаст Уильям Крукс в 1873 году. Сам он еще не проводил экспериментов по беспроводной телеграфной связи посредством электромагнитных волн, но верил в «бесконтактную биологическую связь между головами людей». Изобретение же радио приписывают многим, от Эдисона до Маркони и Попова. Первой радиogramмой на русском языке было имя Генрих Герц, переданное в Русском физико-химическом обществе, первой радиogramмой на итальянском – фраза *Viva l'Italia* на итальянской военно-морской базе в Специи (обе – в 1897 г.).

¹⁵⁵ Это прославляющее отсутствие бумаги и расстояний письмо Ленину Бонч-Бруевича от 5 февраля 1920 года везут и передают на бумаге через одного из членов коллегии Наркомата почт и телеграфов и также возвращаются в Нижний Новгород с ответом Ленина на бумаге. Впервые станет оно публичным опять же благодаря бумажному изданию «Телеграфия и телефония без проводов» № 23 (1924); цит. по: *Ленин В.* Письмо М. А. Бонч-Бруевичу. 5 февраля 1920 г. // *Он же.* Полн. собр. соч. в 55 т. М.: Политиздат, 1967. Т. 51. С. 130.

¹⁵⁶ См. подробнее о революционных обертонах технологии радио: *Мурашов Ю.* Электрифицированное слово. Радио в советской литературе и культуре 1920–30-х годов // *Советская власть и медиа.* С. 17–38.

¹⁵⁷ К началу 1920-х количество граммофонов в России намного превосходит количество радиоприемников, а радиовещание сможет составить альтернативу грамзаписи лишь в 1930-е годы. См. подробнее: *Коляда В.* Аудиодокументы в коммунистической среде СССР 1920–30-х годов // *Советская власть и медиа.* С. 76–88.

¹⁵⁸ *Горяева Т.* «Великая книга дня». Радио и социокультурная среда в СССР 1920–30-е годы // *Советская власть и медиа.* С. 59–75.

Литературный авангард тоже заморожен радио. Азбука Морзе сперва существовала как запись последовательности сигналов на бумаге, которая затем считывалась, то есть охватывалась *одним взглядом*, но вскоре операторы осваивают искусство «ловить смысл на лету», то есть распознавать серии сигналов *на слух*. Поэтому и ранняя культурная история радио как бы колеблется между письменной и устной речью, невзирая на жанровые границы.

Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан <...> Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать *буквами на темных полотнах огромных книг*, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, *медленно переворачивающих свои страницы*. <...> Эти книги улиц – читальни Радио!¹⁵⁹

Записывая «радио» с прописной буквы, Хлебников не только вписывает этот интермедиальный объект в публичное пространство новой республики (в качестве институции-интерфейса), но и встраивая его в конструкцию трансцендентального аппарата нового социального тела (о чем говорит угроза отключения «его сознания» при остановке работы):

Радио будущего – главное дерево сознания <...> Остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату его сознания <...> Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой.

С той же легкостью, с какой до революции и войны *слово как таковое* «разрешало роковые вопросы отцов»¹⁶⁰, Хлебников теперь решает их с помощью радио, опосредуя им работу органов восприятия – вплоть до вкусового и ольфакторного – задолго до того, как оно станет технической реальностью большинства.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого. <...> Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны!¹⁶¹

Возникнув как новый синтетический канал коммуникации и введя новые способы получения информации и психо-эстетические формы коммуникации, радио долгое время не только было экономически относительно независимо от центральной власти¹⁶², но и технологически представляло собой систему, к которой не могла приспособиться *печатная* цензура. В конце концов тексту отводилось меньше половины объема вещания (немалую часть составляла музыка). Да и голос как таковой все еще мог нести с собой немало неоднозначности – вплоть до 1930-х, когда все читаемые по радио тексты начинают подвергаться обязательному

¹⁵⁹ «Радио будущего» (1921) впервые опубликовано в «Красной нови» № 8 (1927); цит. по: Хлебников В. Творения. М.: Сов. писатель, 1986. С. 637–638.

¹⁶⁰ «До нас речетворцы слишком много разбирались в человеческой „душе“ (загадке духа, страстей и чувств), но плохо знали, что душу создают баячи... Так разрешаются (без цинизма) многие роковые вопросы отцов». См.: Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. С. 25).

¹⁶¹ Хлебников В. Радио будущего. С. 637. Фактически Хлебников в 1921 году дословно предвосхищает то, что современный философ Бернар Стиглер называет *psychopouvoir*: именно радио и именно в 1920-е годы он считает исходной точкой новой экономики внимания и массовой аудитории. Ср. «La radio est au cœur du basculement dans l'économie de l'attention, parce que c'est une technologie structurellement faite pour la captation de l'attention. <...> C'est à partir de la radio qu'on constitue des audiences de masse et qu'on construit véritablement une stratégie de contrôle comportemental» (Stiegler B. L'attention, entre économie restreinte et individuation collective // L'économie de l'attention. Nouvel horizon du capitalisme? / Sous la direction de Yves Citton. Paris: La Découverte, 2014. P. 129). О современном состоянии экономики внимания см. подробнее в Заключении к этому изданию.

¹⁶² Радиовещание находилось в ведении наркомата почт и телеграфов – тех самых, что были первыми захвачены Октябрьской революцией, – однако в период НЭПа существовали и акционерные общества «Радиопередача» и «Радиолюбитель», занимавшиеся развитием сети «гражданского радиовещания». См.: Бабюк М. И. Правовое и организационное обеспечение развития массового радиовещания в СССР в условиях НЭПа. // Вестник Московского Университета. Серия 10: Журналистика. 2017. № 6. С. 73–100.

предварительному *просмотру* в печатном виде¹⁶³, что можно считать даже не столько политической, сколько *медиальной* цензурой. Обращая вспять медиапетлю, описанную Хлебниковым («Радио, чтобы в тот же день стать буквами...»), слово, *звучащее* по радио, с определенного момента становится печатным или *пропечатанным*. Крупская высказывается еще более загадочно и медиачувствительно: «Часто то, что может быть допущено к исполнению в других местах, должно быть запрещено к передаче по радио»¹⁶⁴.

И наоборот: речи, которые устойчиво ассоциируются с медиумом радио, на самом деле никогда не звучали в эфире. Подобно тому, как у нас отсутствуют документальные кинокадры взятия Зимнего дворца (существующего только в постановке Евреинова и позже – Эйзенштейна), Ленин – несмотря на обилие иконографии по теме «Ильич и радио» – никогда не говорил по радио, поскольку вышел из строя до появления технической возможности трансляции живого голоса. Хотя, разумеется, очень ждал появления этой технической возможности, как и Хлебников:

...видно, что в нашей технике вполне осуществима возможность передачи на возможно далекое расстояние по беспроволочному радиосообщению живой человеческой речи; вполне осуществим также пуск в ход многих сотен приемников, которые были бы в состоянии передавать речи, доклады и лекции, делаемые в Москве, во многие сотни мест по республике, отдаленные от Москвы на сотни, а при известных условиях, и тысячи верст...¹⁶⁵

Когда в первые годы ЛЕФа Густав Клуцис делает несколько эскизов установок «Радиоратор Ленин», по ним уже могла передаваться скорее *запись* его голоса: ратор говорил посредством граммофонной записи и находился в прошлом для своей аудитории¹⁶⁶. Впрочем, отсутствие технической возможности никогда не останавливает воображение самих раторов и конструкторов и даже усиливает воздействие их слов и образов¹⁶⁷.

Управляясь со звукозаписывающей техникой уже намного лучше, чем «зеркало русской революции», Ленин все же должен был стоять очень близко к фонографу, записывая свой голос. Возможно, именно несовершенство звукозаписывающей техники требовало совершенствовать технику риторическую¹⁶⁸ – те самые «приемы ленинской речи», которым будет посвя-

¹⁶³ Постановление ЦК ВКП(б) «О руководстве радиовещанием» от 10 января 1927 года гласило: «Установить обязательный предварительный просмотр парткомитетами планов и программ всех радиопередач <...> Принять меры к обеспечению охраны микрофонов, с тем чтобы всякая передача по радио происходила только с ведома и согласия ответственного руководителя» (Справочник партийного работника. Вып. VI. Ч. 1. М., 1928. С. 739). С середины 1930-х для упрощения передачи и, следовательно, контроля информации выходит специальное издание «Работник радио», в котором 90 % всех необходимых для местного вещания текстов печатаются заранее.

¹⁶⁴ Цит. по: Новикова А. Становление социальной маски «советский человек» в радиотеатре и радиопублицистике 1920-х – 1930-х годов // Советская власть и медиа. С. 97.

¹⁶⁵ Ленин В. Письма И. В. Сталину для членов Политбюро ЦК РКП(б) о развитии радиотехники // *Он же*. Полное собрание сочинений: В 55 т. М.: Политиздат, 1970. Т. 45. С. 195. Впервые передача живого голоса состоялась из нижегородской радиолaborатории Бонч-Бруевича уже в 1919 году, но почти все 1920-е на радио преобладает грамзапись. См. подробнее: Коляда В. Аудиодокументы в коммуникационной среде СССР 1920–30-х годов. С. 76–88.

¹⁶⁶ В 1919–1921 годах Ленин записывает на граммофонные пластинки шестнадцать речей, которые впоследствии будут издаваться десятитысячными тиражами, в том числе – «Третий Коммунистический Интернационал», «Обращение к Красной армии» (в двух частях). Самым удачным в техническом плане, а также самым популярным оказалось выступление «Что такое советская власть?». См.: Железный А. Дискография речей В. И. Ленина // Наш друг – грампластинка: записки коллекционера. К.: Музична Україна, 1989. С. 209–252.

¹⁶⁷ См. о технологической правде этого художественного объекта: Новоженнова А. Речь Ленина // Транслит. 2017. № 20. С. 7–19.

¹⁶⁸ Аналогичным образом рифму называют вынужденным формальным следствием акустики театральных помещений. См. об этом: Gonçalves E. Gestes, usages scéniques de la voix et du corps et images des chanteuses / Conférence à l'Université de Genève, 8 mai 2018.

щен выпуск ЛЕФа сразу после его смерти¹⁶⁹. Вслед за этим выпуском со статьями Шкловского, Тынянова, Эйхенбаума, Якубинского, посвященными формальному анализу языка Ленина, сюжет переживет переложение и не одно переиздание, выполненное Алексеем Крученых, с обложками по эскизам Густава Клуциса:

Весьма вероятно, что многие из этих слов не «изобретены» Лениным. Но раз услышав их – он их закреплял, оформлял – и волей-неволей мы будем связывать их с именем Ленина, считать их автором. И разве большинство «словотворцев» выдумывают сами слова, вводя их в свою речь? Нет, они служат проводниками, посредниками языковой стихии, безымянным автором коих является масса¹⁷⁰.

Многие из упомянутых идей не «изобретены» Крученых, но раз услышав их (от формалистов) – он их закреплял, оформлял – и волей-неволей мы будем связывать их с именем Крученых (которое появляется уже на втором издании в 1927 году), считать его автором. К тому же, после критики Винокура в адрес чистой зауми, большинство словотворцев уже не выдумывают сами слова (с чем намного лучше справляется несовершенство фонографической техники), но служат *проводниками, посредниками языковой стихии*, технологической обшивкой чего может быть только радио.

Кроме того, при практически не меняющемся содержании (пересказываемых идей формалистов), «язык Ленина» постепенно заменяется в заголовках Крученых «речью», таким образом предмет разговора колеблется между этими двумя принципиально разными для лингвистики понятиями. Учитывая этот терминологический сдвиг, можно предположить, что для заумника *речь* Ленина содержала не только убедительные аргументы и поддающиеся формализации «приемы» (как для формалистов), но и что-то от самовитого слова, доступного не столько рациональному понятийному восприятию, сколько уху, в особенности – способному слышать вопреки семантическому измерению. Нельзя сказать, что такое заумное прочтение речи Ленина отклонялось от материалистического или противостояло увековечению наследия вождя¹⁷¹. Напротив, благодаря Крученых «язык Ленина» получал даже более прагматическую интерпретацию как «речь», а радиооператорские установки на обложке первого издания указывали и на материально-техническую среду бытования ее в записи. Подобно тому как акустика связывала текстуальное с физическим при записи, символическое существование вождя приравнивалось к реальному при прослушивании: Ленин оказывался *живее всех живых*, потому что был *записан* как таковой, а теперь звучал и транслировался его *голос*¹⁷².

Аппараты авангардной записи оказываются связаны с техникой социалистической трансляции не только петлей обратной связи¹⁷³, но и общей библиографией, как бы странно ни смотрелись фамилии Ленина и Крученых на одной обложке. Будь Крученых в большей степени

¹⁶⁹ ЛЕФ. 1924. № 1. См. выше краткий анализ статей формалистов, посвященных языку Ленина, в главе «Поиски совершенного языка в советской культуре: между самосознанием медиума и записью фактов».

¹⁷⁰ Крученых А. Язык Ленина. Одиннадцать приемов Ленинской речи. М.: Всероссийский союз поэтов, 1925. С. 8 (в первом издании обложку делала Валентина Кулагина по эскизу Густава Клуциса); в третьем издании (Крученых А. Приемы Ленинской речи. К изучению языка Ленина. М.: Всероссийский союз поэтов, 1928) обложку полностью делал сам Клуцис. (Мы оставляем в стороне библиофильскую активность Крученых, которая в данной ситуации представляется, впрочем, не менее симптоматичной.)

¹⁷¹ См. о зауми и возможности фонографической записи как техническом условии ослабления памяти в эссе «Не из слов, а из звуков: заумь и фонограф» в ЛП.

¹⁷² Аналогичным образом все скульптурные ипостаси Ленина, по мнению А. Юрчака, поддерживают индексальную связь с телом вождя, поскольку сделаны по посмертной маске, снятой в 1924 году. См.: Yurchak A. Bodies of Lenin: The Hidden Science of Communist Sovereignty // Representations. 2015. № 1. P. 116–157.

¹⁷³ Фонограф «встречается» с радио (подобно зонтику со швейной машинкой) в 1921 году, что порождает специфический рынок речевых жанров (не говоря уж о песенных) и оказывается мощнее сцепления радио с телеграфом, допускавшего лишь простейшие сообщения о свершившейся революции и прогнозы погоды с помощью азбуки Морзе.

политизирован¹⁷⁴, он даже мог бы сказать вслед за Вертовым, что фонограф позволяет фиксировать реальность, недоступную человеческому уху, а всесоюзная сеть радиоточек должна стать новым инструментом коммуникации пролетарских масс, транслируя поочередно речи Ленина и заумные стихотворения с последующим формальным «развинчиванием» того и другого. Во всяком случае, такой набор мало отличается от репертуарных прогнозов в «Радио будущего» Хлебникова¹⁷⁵. Впрочем, у этой фантазии о заходящих намного дальше, чем принято считать возможным, контактах футуристического авангарда с большевистской властью имеется вполне эмпирический субстрат. Еще более ярким примером описанной выше обратной петли между агентностью голоса народа и агентностью политического и художественного авангарда был Владимир Маяковский.

Маяковский сочетал чувствительность к материальности медиума (которая, как будет показано, уже не сводилась для него к самовитому слову, то есть материальности означающего) с пониманием практических задач «передачи фактов». По этой причине ему приходилось одновременно защищаться и от узкоавангардистских обвинений со стороны менее политически-ориентированных будетлян, и от узкопролетарской критики со стороны менее экспериментально настроенных поэтов и писателей из народа. Будущий редактор «Нового ЛЕФа» находился в структурном положении, схожем с тем, в котором вскоре окажется и теория литературы факта.

В этом положении представители «Нового ЛЕФа» оказывались потому, что ощущали родство как с авторитетом «голоса народа», так и с заумной поэзией, наследниками которой будет также отстаиваться «авторитет бессмыслицы» – при появлении ОБЭРИУ в том же 1927 году¹⁷⁶. Причина такой странной реверберации может быть только в том, что оба источника авторитета имели общее технологическое воображаемое. «Голос народа» и «поэзия неведомых слов» могут быть записаны благодаря одной и той же аппаратуре: оба авторитета/голоса существуют как производная сбора материала фонографом. Вертову «придется уже говорить о записи слышимых фактов»¹⁷⁷, которые будут не просто данными с мест, но и производной фактографического метода и революционного (аппарата) сознания. Впрочем, противники «Нового ЛЕФа» чаще всего предполагали, что противоречие между творческой способностью записи нового и задачей наделения речевой способностью «безязыкой улицы» неразрешимо. У Маяковского оно, однако, разрешалось именно посредством использования новых медиа.

В XIX веке поэт терялся в догадках о прагматической судьбе, а значит, и медиалогической природе своих высказываний («нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»), что отчасти было связано с материальностью книжной культуры, не позволявшей быстро получить обратную связь. В XX веке в определение поэтического призвания и прилагающихся к нему технических требований стало входить проектирование аппаратов записи и передачи поэтического слова. Поэты, вынужденные «собирать для себя инструмент», начиная с Мал-

¹⁷⁴ О степени политизации Крученых можно сказать немного, но, к примеру, во время войны и революции он уезжает в Тбилиси, где организует группу «41», куда войдут также Игорь Терентьев и Илья Зданевич, которые будут, в свою очередь, позже контактировать с «Новым ЛЕФом» и парижской сценой соответственно. См.: *Никольская Т. И.* Терентьев и грузинские футуристы // Терентьевский сборник. М.: Гилея, 1996. С. 79–82.

¹⁷⁵ Сам Вертов выступает за раскрепощение слуха трудящихся, а в немом кинофильме «Шагай, совет!» (1926) делает уличные радиорупоры точкой съемки. См.: *Вертов Д.* «Радио-глаз» // *Он же*. Из наследия: в 2 т. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. Т. 2. С. 99.

¹⁷⁶ Мы сопоставляем один из центральных типов *authority*, рассматриваемых Горэмом, и выражение Александра Введенского как относящиеся к одному периоду, но очевидно занимающие разные положения по отношению к «авторитетному курсу» (Юрчак), на основании того, что изначально многие заумники – включая Туфанова, непосредственно связанного с зарождением ОБЭРИУ, – по следам фольклорных экспедиций пришли к выводу, что народ в своих поэтических композициях «поэзию звуков ставит выше поэзии мыслей» (*Туфанов А.* Ритмика и метрика частушек при напевном строе // *Красный журнал для всех*. Л.: Прибой, 1923. № 7–8. С. 77). О страсти к заумному и народному языку, а также ее техническом обеспечении подробнее см. эссе «„Объективная поэзия“ и телесная трансмиссия» в ЛП.

¹⁷⁷ *Вертов Д.* «Радио-глаз». С. 99.

ларме стали медиаспециалистами. Причем если технологическое воображение дореволюционного авангарда в основном было сосредоточено на процедурах записи сигнала с помощью технических устройств (как происходило с заумью), то после революции встает вопрос и о его трансляции. Это не только проблема «сбыта продукции» – способы дистрибуции будут ретро-активно перестраивать и самое производство. Так, обостряемая звукозаписью и ассоциируемая с Крученых чувствительность к материальности языка уже у Маяковского дополняется и расширяется новыми медиа, интересом к которым и отличается редакция «Нового ЛЕФа» (1927–1929) от ЛЕФа начала 1920-х годов. На место производственной артикуляции «аналоговых» искусств (живописи, скульптуры и т. д.) приходит вопрос о литературной, фото- и кино-фактографии, которая не только отличалась по семиотической природе, но и подразумевала потенциально бесконечную ремедиацию и «техническое воспроизводство». Если Крученых после закрытия «ЛЕФа» (1925) приходится заниматься ремедиацией идей формалистов из предпоследнего выпуска журнала, интуитивно достраивая инструменты авангардной записи до аппаратов социалистической трансляции (и получая довольно странные конструкции вроде самовитого слова Ленина), то Маяковский в открывающемся в 1927 году «Новом ЛЕФе» уже уверенно расширяет языковой медиум техническим устройством радио: «Радио – вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию»¹⁷⁸. Дело уже не только в переключении с графического означающего на акустическое, что бывало и раньше в футуризме:¹⁷⁹ решающим оказывается именно «дальнейшее продвижение слова, лозунга, поэзии», акустическое означающее получает свой носитель и «разноситель», сопоставимый с книгой.

<...> автор с читателем связывался книгой. Читатели за книги платили деньги. <...> Революция перепутала простенькую литературную систему. <...> Появились стихи, которые никто не печатал, потому что не было бумаги, за книги не платили никаких денег, но книги иногда печатались на вышедших из употребления деньгах <...> связь с читателем через книгу стала связью голосовой, лилась через эстраду (14–15).

В условиях материального дефицита военного коммунизма отсутствие бумаги заставляло писателей представлять свои произведения устно, все больше «работать с голоса» и все чаще прибегать к драматическим жанрам¹⁸⁰. Таким образом, сначала старый мир – как коммерческий, так и материально-технический, – был разрушен революцией, а затем из духа материального дефицита рождается новая литературная техника, в которой и происходит становление Маяковского. Этого поэта обычно пытаются интерпретировать либо в контексте политической революции, либо в терминах литературной эволюции¹⁸¹, но если допустить, что за его литера-

¹⁷⁸ Маяковский В. Расширение словесной базы // Новый ЛЕФ. 1927. № 10. С. 16. Далее страницы приводятся в тексте.

¹⁷⁹ См. подробнее об осцилляции «слова как такового» между фонографической записью и жестикуляторным репертуаром печатной машинки в эссе «Не из слов, а из звуков: заумь и фонограф» и «Не из слов, а из букв: заумь и печатная машинка» в ЛПИ.

¹⁸⁰ Даже основанный в 1922 году Главлит определяет достойную поддержки культуру, просто распределяя все еще дефицитную бумагу. Такая «цензура носителя» в сочетании с безработицей интеллектуалов и выросшими втрое ценами на книги (из-за высоких налогов) свели частное книгоиздание к минимуму. См. подробнее о бумаге как дефицитном носителе и физическом операторе возможности высказывания в: *Кларк К.* Петербург, горнило культурной революции. С. 219–223.

¹⁸¹ В лучшем случае Маяковский оказывается тем, кто, с одной стороны, сделал литературным фактом большевистскую революцию, а с другой – последовательно проводил революцию самого литературного языка, то есть, в терминах Троцкого – Бретона, заставлял одновременно и революцию служить литературе (причем не только темой или референтом, но и способом действия: ср. «писать войной»), и литературу – революции. Ср.: «Если для развития материальных производительных сил революция вынуждена учредить социалистический режим централизованного плана, то для умственного творчества она должна с самого начала установить и обеспечить анархический режим индивидуальной свободы. Никакой власти, никакого принуждения, ни малейших следов командования! <...> Высшей задачей искусства в нашу эпоху мы считаем его сознательное и активное участие в подготовке революции». Однако художник может служить освободительной борьбе только в том случае, если он субъективно проникся ее социальным и индивидуальным содержанием, если он впитал ее смысл и пафос в свои

турной техникой стоит конкретный материально-технический быт, в свою очередь связанный с политическими пертурбациями, то проблема разрыва между двумя этими интерпретациями снимается: литература получила новую технику благодаря тому, что революция уничтожила старую материально-техническую базу литературы.

Однако с восстановлением обычной инфраструктуры бумага начинает возвращаться и угрожать откатом к «простенькой литературной системе», поэтому так важно, что революция – уже не столько политическая, сколько техническая, – дает новой форме бытования слова подходящий медиум: радио. Маяковский пытается удержать завоевания литературной эволюции, которых удалось добиться благодаря материально-техническому дефициту и с помощью революционных медиатехник.

нервы и свободно ищет для своего внутреннего мира художественное воплощение. <...> Цель настоящего воззвания – найти почву для объединения революционных работников искусства для *борьбы за революцию методами искусства* и для защиты самого искусства от узурпаторов революции. <...> За свободное искусство для революции! За революцию для освобождения искусства!» (курсив наш). Текст манифеста «За свободное революционное искусство!» был написан совместно Троцким и Андре Бретоном, посетившим Мексику весной-летом 1938 года, но опубликован за подписями Бретона и Д. Риверы. Цит. по: *Троцкий Л. Д.* Архив в 9 т.: Т. 9 // Библиотека Максима Мошкова // [URL]: http://lib.ru/TROCKIJ/Arhiv_Trotskogo__t9.txt (дата обращения: 10.01.2021).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.